

Утренняя заря, или мысль о моральных предрассудках

Фридрих Ницше

## УТРЕННЯЯ ЗАРЯ, ИЛИ МЫСЛЬ О МОРАЛЬНЫХ ПРЕДРАССУДКАХ

Есть много утренних зорь,  
Которые еще не светили...

### ПРЕДИСЛОВИЕ

В этой книге выведен житель подземелья за работой — сверлящий, копающий, подкапывающий. Кто имеет глаза, способные рассмотреть работу на громадной глубине, тот может видеть, как он медленно, осторожно, терпеливо подвигается вперед не чувствуя слишком больших неудобств от продолжительного лишения света и воздуха; можно сказать даже, что он доволен своей жизнью и работой во мраке. Не увлекает ли его какая-нибудь вера? Не вознаграждает ли его какое-нибудь утешение? Не переносит-ли терпеливо он свой мрак, оставаясь непонятым, неясным, загадочным, потому, что он надеется иметь с в о е утро, с в о е искупление, свою утреннюю зарю?.. Он вернется сюда: но не спрашивайте его, чего он хочет там внизу: он скажет вам об этом сам, если он снова сделается человеком, это мнимый Трофоний, этот житель подземелья. Разучиваются молчанию, когда так долго, как он, бывают в одиночестве, живут как кроты...

Действительно, мои терпеливые друзья, я хочу вам сказать, чего я хотел там, внизу, сказать в этом предисловии, которое легко можно назвать последним прости, надгробным словом: я пришел назад и — я пришел оттуда. Не думайте, что я буду звать вас на такой же отважный шаг, или хотя бы только к такому одиночеству! Кто избрал себе такой путь, тот не найдет спутников. Никто не придет помочь ему; он должен быть готов один на все, что ни встретится ему — опасность, несчастье, злоба, ненастье. Он идет сам по себе... и его горечь, его досада состоят в этом “сам по себе”: на что, например, ему надобно знать, что даже друзья его не могут догадаться: где он, куда он идет? Что по временам они будут спрашивать себя: идет-ли он вообще? Тогда предпринял я нечто такое, чего не каждый мог сделать, — я спустился в глубину, я начал рыть почву, исследуя ту старую веру, на которой мы, философы, возводили здания уже несколько тысячелетий, возводили все снова и снова, несмотря на то что все эти здания рушились: я начал исследовать нашу веру в мораль. Вы не понимаете меня.

Вопрос о добре и зле разрешался до сих пор самым неудовлетворительным образом: решать его было слишком опасное дело. Привычка, доброе имя, ад не позволяли быть беспристрастным: в присутствии морали нельзя мыслить, еще менее можно говорить: здесь должно — повиноваться. Критиковать мораль, брать мораль как проблему, это — признак безнравственности! Но мораль владеет не только всякого рода средствами устрашения, чтобы сдерживать критические руки, ее безопасность заключается еще более в некотором искусстве очаровывать, которым она владеет вполне, — она умеет “вдохновлять”. Ей часто удается только одним взглядом парализовать критическую волю, бывают даже случаи, когда она умеет обращать волю против нее же самой и делать из нее скорпиона, вонзающего жало в свое собственное тело. Мораль испокон века обладала нечеловеческим искусством убеждения: не было и нет ни одного оратора, который бы не обращался к ней за помощью (даже анархисты — и те прибегают к морали, когда им надобно себя оправдать; они даже называют себя “людьми добра и справедливости”). С тех пор как на земле начали говорить и убеждать, мораль постоянно показывала себя величайшей мастерицей обольщения, — а что касается нас, философов, она была для нас настоящей Цирцеей.

В чем же причина того, что все философы, начиная с Платона, трудились напрасно? Отчего все воздвигнутые ими здания грозят рушиться или лежат уже в развалинах, хотя сами они честно и серьезно считали их “прочнее меди твердой”. О, как ошибочен ответ, который дают и теперь еще на этот вопрос — “потому что все они упустили из виду испытание фундамента, критику разума” — этот роковой ответ Канта не поставил нас, философов, на более твердую или хотя бы на менее зыбкую почву. И не странно ли, правда, требовать, чтобы орудие само оценивало свою пригодность и свое качество? Чтобы интеллект сам “познавал” свою цену, свою границу, свою силу? Не отзывается ли это даже немного бессмыслицей?.. Правильным ответом было бы то, что все философы строили свои здания, находясь под обольщением морали, в том числе и сам Кант; что они обещали искать “правду”, а на самом деле заботились только о том, чтобы построить “величественные нравственные здания”. Сам Кант простодушно называл свою “не блестящую, но и не лишенную заслуг” задачу и работу средством “уровнять и упрочить почву для величественных нравственных зданий”. Увы! это не удалось ему. Даже наоборот!” можно было бы сказать теперь. С такой фантастической целью Кант был истинным сыном своего времени, которое более, чем всякое другое, было временем химер: таким остался он, к счастью, и в отношении к более ценному явлению своего века — сенсуализму, который он заимствовал в своей теории познания. Его коснулось жало и тарантуловой морали Руссо, в глубине его души лежала мысль морального фанатизма, исполнителем которого был Робеспьер с *ergo de fonder sur la terre l’empire de la sagesse, de la justice et*

de la vertu. И чтобы создать свое “моральное царство”, он видел себя вынужденным приставить еще недоказанный митр, логическое “по ту сторону”, - для этого-то и понадобилась ему критика чистого разума. Говоря иначе, она не нужна была бы ему, если бы ему не потребовалось непременно свое моральное царство сделать недоступным нападкам разума: он чувствовал, что моральный порядок вещей слишком доступен для нападков со стороны разума. Принимая в расчет природу и историю, принимая в расчет отсутствие морали в природе и истории, Кант был, как и всякий хороший немец, пессимистом. Он верил в мораль, не потому, что она была доказана природой и историей, но не смотря на то что природа и история постоянно противоречили ей: *credo, quia absurdum est*.

Но моральным феноменом являются не логические суждения, а доверие к разуму, от чего зависит признание или отрицание наших суждений... Может быть, немецкому пессимизму предстоит еще сделать свой последний шаг? Может быть, он еще раз роковым образом поставит рядом *credo* и *absurdum*? И эта книга, проникнутая пессимизмом, вплоть до морали, вплоть до доверия к морали, разве не носит она на себе печати немецкого духа? В действительности она представляет из себя противоречие, и не боится этого: в ней объявляется доверие к морали — почему же? Из способности к морали, или назовите, как хотите, то, что совершается в нас! Нет никакого сомнения, что и в нас еще говорит “ты должен”, и мы еще слушаемся строгого закона над нами, и Эта последняя мораль нам понятна, о существовании ее мы знаем; если не где-нибудь, то именно здесь мы являемся еще людьми совести. Но мы оставили то, что отжило, оставили старый идеализм, называйте его как хотите — правдой, справедливостью, любовью к людям, добродетелью; мы сломали мосты к старым идеалам... мы враги вообще всему европейскому феминизму, который вечно толкает вниз. Но как люди совести, мы состоим в родстве с немецкой праведностью и благочестием тысячелетий, будучи потомками, наследниками их и исполнителями их воли, их пессимистической воли, которая не останавливается перед отрицанием самой себя! Если вы хотите точного термина, — в нас совершается самосохранение морали.

Но наконец — к чему должны мы говорить так громко о том, что мы есть, чего мы хотим и чего не хотим? Будем смотреть на это холоднее, осторожнее; будем говорить, как можно говорить между нами, так тихо, чтобы весь свет не услышал этого, чтобы весь свет не услышал нас... Прежде всего, будем говорить медленно... С такой книгой, с такой проблемой нет надобности торопиться; кроме того, мы оба — я и моя книга — друзья медлительности. Не напрасно мы были филологами, не напрасно мы были учителями медленного чтения, — наконец, мы и пишем тоже медленно. Теперь это сделалось не только моей привычкой, но и вкусом — может быть, дурным вкусом? Филология — именно то заслуживающее уважения искусство, которое от своего почитателя требует, прежде всего, одного — идти стороной, давать себе время, быть тихим, медленным, как ювелирное искусство слова, которое исполняет только тонкую, осторожную работу и которое может испортить все, если будет торопиться. Именно потому оно теперь необходимее, чем когда-нибудь, именно потому-то оно влечет и очаровывает нас, в наш век “работы”, век суетливости, век безумный, не щадящий сил, поспешности, — век, который хочет успеть все и справиться со всем, с каждой старой и с каждой новой книгой. Филология не так быстро успевает все — она учит читать хорошо, т. е. медленно, всматриваясь в глубину смысла, следуя за связью мысли, улавливая намеки; видя всю идею книги, как бы сквозь открытую дверь... Мои терпеливые друзья! Эту книгу могут читать только опытные читатели и филологи: выучитесь же хорошенько читать!..

Рута, близ Генуи. Осень 1886 года.

## КНИГА ПЕРВАЯ

### ДОИСТОРИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ ОБЫЧАЕВ И НРАВСТВЕННОСТИ

Дополнительная разумность.

Все вещи, которые долго живут, до того проникаются, мало-по-малу, разумом, что становится невероятным их происхождение от неразумного. Нее отзывается ли для чувства парадоксом и дерзостью каждая точная история происхождения? Не противоречит ли постоянно в самом принципе хороший историк?

Предубеждение ученых.

Правильно убеждение ученых, что люди всех времен думали, что они знают, что такое добро и зло, что похвально и что достойно порицания. Но предубеждение ученых состоит в том, что мы теперь будто бы знаем это лучше, чем знали когда-либо прежде.

Все имеет свое время.

— Когда человек давал пол всему сущему, он не думал, что он играет, но предполагал, что он приобрел глубокую проницательность \_ чудовищность этой ошибки он понял позднее, но может быть и теперь еще не вполне. — Точно так же человек все поставил в связь с моралью и повесил миру на плечи этическое значение.

Будьте благодарны.

— Великий продукт современного человечества состоит в том, что мы не испытываем теперь постоянного страха перед дикими зверями, варварами, богами, сновидениями.

Фокусник и его антипод.

— То, чему мы удивляемся в науке, противоположно тому, чему мы удивляемся в искусстве фокусника. Фокусник обманывает тем, что показывает простую причинность там, где в действительности существует причинность очень сложная; наука, напротив, заставляет нас верить в сложность причинности там, где все так легко понятно. “Самые простые” вещи очень сложны. — Удивительно!

Чувство пространства.

— Что больше содействует счастью человека — деятельные или представляемые вещи? Известно, что расстояние между самым высоким счастьем и самым глубоким несчастьем измеряется с помощью представляемых вещей. Следовательно, чувство пространства такого рода все уменьшается под влиянием науки, так как мы узнали от нее, насколько мала земля, и саму солнечную систему мы представляем себе точкой.

Понятие нравственности обычаев.

— Сравнительно с образом жизни целых тысячелетий, мы, теперешние люди, живем в очень безнравственное время: сила обычаев поразительно ослаблена, и чувство нравственности так утончено и так приподнято, что положительно можно назвать его окрыленным. Поэтому нам, позднейшим, трудно становится усмотреть самые корни происхождения морали; а если и удастся это сделать, язык прилипает к гортани, с языка не сходят слова, потому что они звучат слишком грубо! или потому, что они, как нам кажется, оскорбляют нравственность! Например, вот главное положение старых времен: нравственность не что иное (или не более) как подчинение обычаям, каковы бы они ни были; обычаи — традиционный способ действий. В тех случаях, где традиция не повелевает, нет нравственности; и чем меньше определяется жизнь традициями, тем меньше становится круг нравственности. Свободный человек безнравствен, потому что во всем он хочет зависеть от себя, а не от традиции. Во всех первобытных состояниях человечества слово порочный было равнозначуще слову “индивидуальный”, “свободный”, “независимый”. Если совершалось какое-нибудь действие не потому, что так повелевала традиция, а в силу других мотивов (например, ради индивидуальной пользы), такое действие считалось безнравственным; так оно и понималось даже самим его совершителем: ибо оно совершено с нарушением традиций.

Что такое традиция? Высший авторитет, которому повиновались потому, что он приказывал, хотя бы в этом и не было пользы для нас. — Чем отличается это чувство, которое испытывается перед традицией, от чувства страха вообще? Это — страх перед высшим интеллектом, который повелевает нам, перед непонятной, неопределенной силой, перед чем-то большим, чем простая личность, — это суеверие в страхе.

Первоначально и воспитание и медицина, и брак и гигиена, и земледелие и война, и разговор и молчание, общение людей и между собой и с богами, — все принадлежало области нравственности: тогда требовалось, чтобы соблюдали предписания, не обращая внимания на себя. Первоначально все было обычаем, и кто хотел стать выше этого, тот должен был сделаться законодателем, волхвом, полубогом, т. е. он должен был создавать обычаи — вещь страшная, сопряженная с опасностью жизни!

Какой человек самый нравственный? Во-первых, тот, кто наиболее часто исполняет закон, т. е. подобно брамину, всюду, каждую минуту носит с собой сознание этого, так что при каждом удобном случае исполняет закон. Во-вторых, тот, кто исполняет закон в самых тяжелых обстоятельствах. Самый нравственный тот, кто больше всего приносит жертвы обычаю. Какая наибольшая жертва? Смотря по ответам на этот вопрос является несколько различных моралей, но важнейшим различием остается все-таки то, которое устанавливает два вида нравственности — нравственность наиболее частого исполнения закона и нравственность исполнения закона в наиболее трудных случаях. Не надобно обманываться о мотиве той морали, которая требует исполнения наиболее трудных законов как признака нравственности! Самообладание требуется не ради его полезных целей, которое оно имеет для индивидуума, но потому, что обычай, традиция является вопреки всем индивидуальным выгодам и требует, чтобы отдельная личность принесла себя в жертву — такова нравственность обычаев. Напротив, те моралисты, которые идут по сократовским следам и считают мораль самообладания и воздержания выгодной для самого индивидуума, ключом к его личному счастью, составляют исключение: они идут по новой дороге при явном нерасположении всех представителей нравственности обычаев; они исключаются из общины, как безнравственные. Так, римлянам христиане казались вредными потому, что они заботились прежде всего о спасении своей души.

Всюду, где есть община и, следовательно, нравственность обычаев, там господствует мысль, что за оскорбление обычаев наказание падает, прежде всего, на общину, — то сверхъестественное наказание, границу которого так трудно узнать, и которое принимается с таким суеверным страхом. Община может принудить индивидуума, чтобы он заплатил, за тот ближайший вред, который нанесен его деянием отдельному лицу или общине; она может также мстить индивидууму за то, что по его вине над общиной разразился гнев Божий, — однако, она сознает вину индивидуума своей виной, и несет его наказание как свое наказание: “нравы стали распушеннее, если стали возможны такие поступки”. Каждое индивидуальное действие, каждый индивидуальный образ мыслей возбуждает страх. Невозможно перечислить, сколько вынесли в течении всей истории эти редкие умы, которые

считались порочными и опасными, и которые сами себя считали такими. При власти такой нравственности все оригинальное считалось порочным.

Взаимное уничтожение понимания нравственности и понимания причинности.

— В какой мере растет понимание причинности, в такой же мере уменьшаются границы царства нравственности. Всякий раз как поймут необходимые следствия, отделят их от всех случайностей и сумеют судить обо всех возможных *posthoc*, = этим тотчас же разрушат бесчисленное множество фантастических причинностей, в которые прежде верили как в основы нравственности (действительный мир гораздо меньше фантастического); а лишь только из мира исчезнет боязливость и принуждение, — исчезнет и авторитет обычаев.

Народная мораль и народная медицина.

Над моралью, господствующей в общине, непрерывно работает каждый. Большинство накапливают примеры для принятых отношений причин и следствий, вины и наказания, подтверждая, что этот порядок хорошо обоснован, — и вера их увеличивается. Другие делают новые наблюдения над действиями и следствиями их, выводят из этого заключения и законы. Меньшинство находит здесь и там недостатки, — и теряет веру. Но деятельность всех их одинаково груба и ненаучна, — идет ли дело о примерах, наблюдениях, сомнениях, или о доказательствах, подтверждениях, возражениях закону, — это ничего нестоящий материал и ничего нестоящая форма, как материал и форма всякой народной медицины. Народная медицина и народная мораль стоят близко друг к другу и заслуживают одинаковой оценки.

Следствие как прибавление.

В древности думали, что результат какого-нибудь дела не есть простое следствие, а прибавка, приходящая извне, и именно от богов. Мыслимо ли большее заблуждение! Надобно было стараться о деле, а о результате — особенно, с совершенно различными средствами и приемами!

К новому воспитанию человеческого рода.

— Помогите, здравомыслящие, удалить понятие наказания, которое завладело всем миром! Нет более вредных плевел! Его не только сделали следствием нашего образа действий — как страшно и нелогично уже одно это: понимать причину и следствие как причину и наказание! — Но сделали больше: всю чистую случайность совершающегося лишили ее невинности, ради этого проклятого искусства толкования понятия наказания...

Сумасшествие в истории нравственности.

— Если не смотря на тот ужасный гнет нравственности обычаев, под которым начало жить человечество еще за несколько тысячелетий до нашей эры, если, не смотря на это, постоянно возникали все новые и новые мысли, взгляды, цели, то происходило это при страшном сопутствии: почти всюду дорогу новым мыслям прокладывало сумасшествие; оно же ломало и уважаемые обычаи и суеверия. Понимаете-ли вы, почему это должно было быть сумасшествием? Почему в голосе и лице человека должно было быть что-нибудь страшное и бурное, как демонические прихоти бури или моря и потому внушающие уважение и страх! Почему он должен был носить на себе печать полного безволия, как судороги эпилептика, представляющие безумного как бы говорящим голосом Божества! Сам носитель новой мысли испытывал уважение и страх перед самим собой, и его неудержимо влекло быть пророком этой идеи и мучеником за нее! Древние думали, что всюду, где есть сумасшествие, есть и гений и мудрость — вообще есть нечто “божественное”; или как они выражались прямее и резче: “сумасшествие дало Греции величайшие блага” так говорил Платон со всем старым человечеством! Сделаем еще один шаг дальше. Всем тем сильным людям, которых неудержимо влекло к тому, чтобы сбросить иго старой нравственности и дать новые законы, ничего не оставалось другого, как сделаться или казаться сумасшедшими, если они не были в действительности такими, — и таково было положение новаторов во всех областях жизни, а не только жрецов и политиков! — даже реформатор поэтического метра должен был показать себя сумасшедшим! Даже в более цивилизованные времена за поэтами еще сохранялась репутация сумасшествия: этим воспользовался, например, Солон когда подстрекал афинян к завоеванию Саламина. — Как, сделаться сумасшедшим тому, кто на самом деле не сумасшедший, и у кого недостает смелости казаться таким? Этой странной задачей интересовались почти все значительные люди древнейших цивилизаций: существовала целая тайная наука приемов. Один и тот же рецепт был и у индусов для того, чтобы сделаться фокусником, и у Гренландцев — чтобы сделаться ангекоком, и у бразильцев — чтобы сделаться пайе: посты, продолжительное половое воздержание, жизнь в пустыне, на горе, или просто не думать ни о чем таком, что могло бы волновать или расстраивать. Кто отважится взглянуть в пустыню горьких и страшных душевных мучений, в которой томились самые плодотворные люди всех времен! Послушайте только вздохи этих пустынников! “Ах, дайте мне безумие, боги! Безумие, чтобы я уверовал в самого себя! дайте мне конвульсии и бред, сменяйте мгновенно свет и тьму, устрашайте меня холодом и зноем, какого не испытывал еще ни один смертный, устрашайте меня шумом и блуждающими тенями, заставьте меня выть, визжать, ползать по земле, но только дайте мне веру в себя! Сомнение съедает меня!.. Новый дух, который во мне, — откуда он, если не от вас? Покажите же мне, что я — ваш; только безумие

докажет мне это”. И эта мольба часто достигала своей цели.

Древнейшее средство утешения.

— Первая ступень: человек видит в каждой болезни, в каждой неудаче, нечто такое, за что он должен мстить кому-нибудь другому, — при этом он чувствует еще в себе силу, и это утешает его. — Вторая ступень: человек видит в каждой болезни, в каждом несчастье наказание, т. е. очищение от греха и средство освободиться от злых чар действительной или воображаемой несправедливости. Видя такую выгоду, которую приносит с собой несчастье, он уже перестает думать, что за это надобно мстить другим, — он освобождается от такого рода удовлетворения, потому что для него есть удовлетворение другое.

Первое положение цивилизации.

— У диких народов есть обычаи, цель которых состоит, кажется, лишь в том, чтобы у народа был только обычай вообще: это тяжелые, и в сущности, лишние законы: например, камчадалы никогда не очищают снега с обуви ножом, не кладут железа в огонь: за нарушение этого полагается смерть. Такой факт подтверждает только великое положение, с которым вступает в историю цивилизация. Лучше, чтобы народ имел какой бы то ни было обычай, чем чтобы не имел никакого.

Добрая и злая природа.

— Сначала человек придумал вмещать себя в жизнь природы: всюду он видел себя и себе подобных, именно свой злой капризный характер, — и в облаках и в бурях, и в хищных зверях, и в деревьях, и в травах: тогда-то он и нашел “злую природу”. Потом настало время, когда он отделил себя от природы, время Руссо: люди так надоели друг другу, что захотели непременно иметь такой уголок мира, куда человек не приходит со своими терзаниями: тогда изобрели “добрую природу”.

Мораль добровольного страдания.

— Какое может быть высшее наслаждение для людей той маленькой, воинственной, постоянно находящейся в опасности общины, где царит самая строгая нравственность? А также для ее сильных, мстительных, злобных. Коварных, хитрых душ, готовых на все самое страшное и закаленных лишениями и нравственностью? Наслаждения жестокости! В таком культурном состоянии добродетелью души считается изобретательность и ненасытность в жестокости; деянием жестокого наслаждения община; в ней черпает она свою энергию и силу. Жестокость принадлежит к древнейшим праздникам человечества. Тогда думали, что даже и боги наслаждаются и радуются жестокими сценами, устраиваемыми человеком, — и таким путем незаметно проникло в мир представление, что добровольное страдание, самоистязание имеет какую-то цену. Мало-помалу в общине возникают обычаи, соответствующие такому представлению: при всех слишком больших удачах человек впадал в страх и сомнение, и при несчастьях он становился увереннее: может быть, говорили себе, боги разгневаются на нас за наше счастье, и милостиво отнесутся к нам за наше несчастье. Не сострадательно, а милостиво! Сострадание презирается и считается недостойным сильной и грозной души. Таким образом, в понятие “нравственного человека” общины входит добродетель частого страдания, лишения, суровой жизни, жестокого самобичевания, но, заметьте опять, все это считается нужным не как средство для воспитания, самообладания, искания личного счастья, но как добродетель, угодная богам, как жертва очищения, постоянно требуемая для их алтаря. Все духовные руководители народов, хотевшие достигнуть какой-нибудь цели, нуждались, кроме безумия, также и в добровольном истязании, чтобы найти доверие к себе, а главным образом и прежде всего, как и всегда, веру в самих себя. Чем дальше шел их дух по новому пути и, следовательно, чем больше мучались они угрызениями совести и страхами, тем больше неистовствовали они против своего собственного тела, своих похотей, своего здоровья, — чтобы предложить божеству вознаграждение на тот случай, если ему не понравится пренебрежение к старому и стремление к новым целям. Вполне ли освободились мы сами от такой логики чувства? Пусть спросят об этом себя наиболее героические характеры! Каждый малейший шаг на поле свободного мышления, самостоятельно устроенной жизни всегда приобретается ценой душевных и телесных страданий. Не только ход вперед, нет! сам ход, движение, перемена имели своих бесчисленных мучеников; особенно много бывало их в переходные, полагающие основание столетия. Конечно, когда говорят о “всемирной истории”, не думают о них, об этом до смешного малом отрезке человеческого существования; и даже в этой так называемой всемирной истории, которая, в сущности, представляет только крик о последних событиях, нет более важной темы, как древняя трагедия мучеников, которые хотели всколыхнуть болото. Ни за что не заплачено было так дорого, как за эту малую частицу человеческого ума и чувства свободы, которая теперь составляет нашу гордость. Но эта же гордость делает почти невозможным для нас вспомнить те громадные эпохи “нравственности обычаев”, которые предшествовали “всемирной истории” и, будучи действительной и решающей главной историей, создали характер человечества: там страдание было добродетелью, добродетелью была жестокость, добродетелью было притворство, добродетелью была месть, добродетелью было скрывание ума; там счастье было опасно, опасна была жажда знаний, опасен был мир, опасно было сострадание; сделаться предметом сострадания там было позором, и позором был труд; безумие там считалось нисходящим от богов!

Изменилось-ли это, и изменило ли человечество свой характер?

Нравственность и отупение.

— Обычай есть результат опыта прежних поколений в вопросе о том, что полезно и что вредно. Но приверженность к обычаю не имеет никакого отношения к опыту как таковому; она объясняется древностью, святостью, неприкосновенностью обычая. И эта приверженность всегда мешала делать новые опыты и исправлять обычаи, т. е. нравственность препятствовала возникновению новых лучших обычаев: она притупляла.

Свободно поступающий и свободно мыслящий.

— Свободно поступающие оказываются внакладе против свободомыслящих, так как люди больше страдают от последствий поступков, чем мыслей. Но если вспомнить, что и те и другие стремятся к своему удовлетворению, и что свободомыслящим доставляет удовлетворение мыслить и высказываться о запрещенных вещах, то в отношении мотивов они уравниваются. То же можно сказать и в отношении последствий, при том условии, если судить не по ближайшей и грубой реальности, т. е. не так, как судят все. Надобно многое отнять из оклеветания, с которым люди относятся ко всем тем, которые своими деяниями ломали обычаи. Каждый, кто ниспровергал существующий обычай, сначала постоянно считался дурным человеком; но потом, если не могли восстановить ниспровергнутый обычай и удовлетворялись новым, то предикат мало-помалу изменялся: — история говорит почти только об этих дурных людях, которые позднее называются хорошими.

Исполнение закона.

В случае, если исполнение морального предписания дает другой результат, чем обещалось и ожидалось, и приносит нравственным людям не обещанное счастье, а несчастье и беспомощность, то всегда возможна для мнительного и добросовестного человека оговорка — “здесь была какая-нибудь ошибка в исполнении”. В крайнем случае глубоко страдающее и разбитое человечество постановит даже: “невозможно точно исполнить предписание, мы слишком слабы и грешны и неспособны к нравственности; поэтому, мы не имеем права на счастье и успех. Нравственные предписания и обещания даны для существ лучших, чем мы”.

Дела и вера.

— Протестантские учителя говорят, что все заключается в вере, и что из веры необходимо должны следовать и дела. Это прямо неверно, но звучит так соблазнительно, что обмануло не только Лютера, но и других, в том числе Сократа и Платона, хотя очевидность ежедневных фактов говорит против этого. Самое достоверное знание или вера не могут дать ни силы к делу, ни опытности в нем; ни знание, ни вера не могут заменить работу тонкого и сложного механизма, которая должна совершиться для того, чтобы представление перешло в действие. Прежде всего и важнее всего дела! Дела и дела! А нужная для этого “вера”- будьте уверены — явится.

В чем мы наиболее развиты.

— Вследствие того, что в течение нескольких тысяч лет все вещи были оживленными и одухотворенными, могущими вредить человеку, то чувство бессилия среди людей развито было гораздо сильнее и встречалось гораздо чаще, чем это должно бы быть. Необходимо было овладеть вещами — как людьми, так и зверями — силой, принуждением, лестью, договорами, жертвами, — отсюда ведет свое происхождение большинство суеверных обрядов, т. е. значительная, может быть, преобладавшая и все-таки бесполезная, даром потраченная часть человеческой деятельности! Но так как чувство бессилия и страха было в таком долгом и почти непрерывном напряжении, то у человека развилось такое тонкое и такое щекотливое чувство власти, точно самые чувствительные весы для золота. Оно сделалось его сильнейшей страстью.

Оценка предписания.

— Судить о том, хорошо или дурно предписание, например, предписание печь хлеб, можно только по тому, получается обещанный результат или нет, — конечно, при условии точного исполнения. Иначе обстоит дело с моральными предписаниями: здесь нельзя видеть результатов. Эти предписания основываются на гипотезах наименьшей научной ценности, доказать или опровергнуть которые из результатов, в сущности, одинаково невозможно. Но прежде, в эпоху невежества и небольших требований, предъявляемых к доказательству истинности слов, оценка хорошего или дурного предписания обычаев устанавливалась так же, как и теперь устанавливается оценка каждого предписания — указанием на пользу. Если у каких-нибудь дикарей Америки существует предписание: “нельзя костей животных бросать в огонь или отдавать собакам”, - оно доказывается так: “сделай вопреки этому закону, — и ты увидишь, что тебе не будет счастья на охоте”. Трудно таким путем оспаривать пользу предписания, особенно, если носителем наказания за нарушение предписания является целая община, а не отдельный человек; короче сказать, здесь всегда можно отыскать какое-нибудь обстоятельство, которое, по-видимому, говорит в пользу предписания.

Обычай и красота.

— В пользу обычая надобно сказать, что у всех, кто преданы ему вполне и от чистого сердца, исчезают органы для нападения и для защиты — как духовные так и телесные: т. е. эти субъекты становятся заметно красивее! Упражнение этих органов и соответствующие этому мысли имеют в себе нечто некрасивое и делает человека некрасивым. Потому-то старый павиан некрасивее молодого, а молодая самка павиана очень похожа на человека, т. е. очень красива. — Отсюда можно сделать заключение о происхождении красоты женщин!

#### Животные и мораль.

— Люди успеха! Заботливое избегание всего смешного, бросающегося в глаза, дерзкого, скрывание своих добродетелей и наиболее сильных страстей, умение казаться равным с другими, сдерживать себя, — все это, как общественную мораль, в грубом виде можно найти и в самом низком животном царстве; — но только здесь мы видим заднюю мысль этих красивых приемов: ускользнуть от преследователя и обеспечить себе добычу. Для этого-то животные выучиваются владеть собой и так притворяться, что некоторые, например, меняют свой цвет сообразно с цветом окружающей среды (в силу так называемых “хроматических функций”) они умеют казаться мертвыми, принимать форму и цвет другого животного, песка, листьев, гриба, лишая (то, что английские исследователи называют *mimicry*). Так и отдельный индивидуум теряется среди общего понятия “человек” или среди общества, стараясь держаться мнения партии, к которой он принадлежит. Даже и то чувство правды, которое в сущности есть чувство безопасности, у человека одинаково с животными: не хотят отдаться в обман, боятся обмануться сами, недоверчиво слушают голоса собственной страсти, насилуют себя, стоят на стороже против самих себя: все это животное делает так же как и человек; и у животного из чувства действительности (из благоразумия) развивается самообладание. Животное точно также наблюдает, какое действие производит оно на других зверей, отсюда учится оно наблюдать за собой, смотреть на себя “объективно”, и доходит, таким образом, до некоторой степени самосознания. Животное судит о действиях своих врагов и друзей, оно запоминает их характерные свойства, оно приравнивается к ним; против одних оно ведет постоянную борьбу, с другими оно сходится с намерениями мира и договора. Начала справедливости, благоразумия, умеренности, храбрости, — короче все, что мы именуем сократовскими добродетелями, можно найти в животном мире, и составляет результат стремлений — найти пищу и избежать врага...

#### Вера в сверхчеловеческие страсти.

— Институт брака упорно поддерживает веру, что любовь, хотя и страсть, однако, как таковая способна продолжаться долго, и что любовь, продолжающуюся всю жизнь, можно считать даже правилом. Ценность этой благородной веры, несмотря на то что благодаря очень частым и почти обыкновенным противоречиям она сделалась *ria fraus*, дала любви высокое благородство. Все институты, которые дали страсти веру в их продолжительность, и которые ручаются за ее продолжительность вопреки самому свойству страсти, дали ей новое положение: тот, кто бывает охвачен страстью, не считает это, как прежде, унижением и опасностью для себя, наоборот, он возвышается в своих глазах и в глазах себе подобных. Вспомните об институтах и обычаях, создавших из возбуждения минуты — вечную верность, из искры гнева — вечную месть, из отчаяния — вечный траур, из мимолетного, единого слова — вечное обязательство: отсюда масса лести и лжи в мире, так как все это по силам существу сверхчеловеческому; это-то и возвышает человека!

#### Расположение как аргумент.

— Что бывает, причиной смелой решимости к делу? — Этот вопрос часто занимал людей. В древности отвечали: причиной этой решимости служит Бог; этим он дает нам понять, что Он согласен с нашей волей. Когда спрашивали оракула о каком-либо предприятии, от него хотели получить большую решимость к делу. И когда человеку представляли выбор между несколькими действиями, он отвечал на эти сомнения так: “я буду делать то-то, потому что к этому лежит мое сердце”. Следовательно, делали выбор, руководясь не рассудком, а тем, что в глубине души человека таились расположение к данному поступку и надежда на успех... Расположение полагалось на чашку весов в качестве аргумента и перетягивало рассудочность: а иногда суеверие заставляло считать расположение внушением, исходящим от сверхъестественной силы которой обещался успех делу. Представьте теперь, какие последствия могли произойти от этого предрассудка! Им можно было заменить все доводы и победить все возражения!

#### Актеры добродетели.

— Среди людей древности, прославившихся своей добродетелью, было, как кажется, очень много таких, которые актерствовали перед самими собой: греки, как прирожденные актеры, делали это, вероятно, совершенно произвольно, и находили это хорошим. Здесь каждый состязался своей добродетелью с добродетелью другого и всех других: как было не применить здесь всех искусств для того, чтобы выставить свою добродетель на вид прежде всего пред самим собой, уже ради упражнения только! Какая польза от добродетели, которую нельзя показать, или которая не умеет показать себя! Этих актеров уничтожило христианство.

#### Утонченная жестокость в роли добродетели.

— Вот нравственность, которая всецело покоится на желании отличиться. Что, собственно, это за желание, и какова его задняя мысль? Хочется нам сделать так, чтобы вид наш доставлял другому страдание и возбуждал в нем зависть, заставляя его чувствовать свое бессилие и принижение; нам хочется заставить его почувствовать горечь его судьбы и, капая на его язык каплю нашего меда, прямо и злорадно смотреть ему в глаза при этом мнимом благодеянии. — Вот человек скромный, — но поищите, и вы, наверное, найдете людей, которым он старается причинить этим самым пытку. Другой выказывает сострадание к животным и служит предметом удивления, — но есть люди, которым он старается причинить страдание именно этим своим свойством. Вот стоит великий художник: наслаждение, которое испытывает он, зная зависть побежденных соперников, дает энергию его силам и помогает ему сделаться великим: — скольких горьких минут стоило другим его величие! Непорочность монахини: какими глазами смотрит она в лицо других женщин... Тема не велика, но вариантов можно набрать без числа, и это следовало бы сделать, так как парадоксальна и новая мысль, что мораль отличия в последнем основании своем имеет наслаждение от утонченной жестокости. В последнем основании — это должно обозначать здесь “в первом поколении”. Если привычки передаются по наследству, то задняя мысль не унаследуется, так как наследственностью передаваться может только чувство, а не мысль. Таким образом, во втором поколении наслаждение, получаемое от жестокости, исчезнет, если оно не будет вновь развито воспитанием; останется только одно наслаждение, получаемое от привычки. Это наслаждение первая ступень к “доброту”.

Гордость духом.

— Гордость человека, возмущающаяся учением о происхождении людей от животных, и полагающая большую пропасть между природой и человеком, имеет своим основанием предрассудок, что такое дух, и этот предрассудок сравнительно нов. В долгую доисторическую эпоху человечества дух видели всюду в природе и не считали его исключительным свойством человека, так что многие знаменитые семьи не стыдились производить свой род от животных, деревьев и т. д., и даже видели в этом особую честь: духом считалось тогда то, что связывает нас с природой, а не то, что отделяет нас от нее. Так воспитывались в скромности, и точно также — вследствие предрассудка.

Тормоз.

— Нравственно страдать и потом услышать, что в страдании такого рода заключается ошибка, — это возмущает. Действительно, большое утешение подтверждать своими страданиями “более глубокий мир правды”, чем всякий другой мир; и всякий охотнее согласится страдать и чувствовать себя возвысившимся над действительностью (сознавая свою близость к тому “более глубокому миру”), чем жить без страданий и зато без этого возвышающего чувства. Это — гордость, и обычный прием удовлетворять ее, противоречащий новому пониманию морали. Чем устранить этот тормоз? Большей гордостью?

Пренебрежение причинами, следствиями и действительностью.

— Те несчастные случайности, которые постигают общину, бури, неурожаи, засухи, наводят всех членов ее на подозрение, что совершено нарушение каких-нибудь обычаев, или что должны быть придуманы новые обряды, при помощи которых можно было бы успокоить демонскую силу. Таким образом, эти сомнения и подозрения оставляли в стороне истинные естественные причины и предполагали причины демонические. Отсюда вышла и продолжалась наследственная извращенность человеческого интеллекта; рядом с этим для этой извращенности был еще другой источник: настоящим, естественным следствиям действия верили гораздо меньше, чем сверхъестественным — так называемым наказаниям и милостям богов. Например, обычаи требуют определенных омовений в определенное время: и совершают омовения не затем, чтобы сделаться чистыми, а потому, что существует такой обычай; стараются избежать не естественных последствий нечистоты, а гнева богов за нарушение обычая омовения. Под влиянием суеверного страха начинают подозревать, что омовение нечистоты имеет еще какое-то гораздо большее значение, теряют в конце концов всякий смысл действительности и начинают считать омовение символом. Так, в эпоху “нравственности обычаев” человек упускал, из виду сначала причины, потом следствия и, наконец, действительность, и связывал все свои чувства с воображаемым миром: с так называемым высшим миром. Следы этого мы видим и теперь еще: где чувство человека возвышается, там всегда на сцене воображаемый мир. Печально: но приходится заподозрить все высшие чувства, — так тесно связаны они с безумием и бессмыслицей. Не таковы они в сущности, и не могут навсегда оставаться таковыми: из всех медленных очищений очищение высших чувств — самое медленное.

Нравственные чувства и нравственные понятия.

— По-видимому, нравственные чувства так передаются, что дети, вырастая, ощущают сильные симпатии или антипатии к определенным действиям, и они, как обезьяны, подражают этим склонностям и нерасположениям; позднее, когда они бывают уже исполнены этих заученных аффектов, они считают приличным поставить запоздавшее “почему?”, для того чтобы оправдать те склонности и нерасположения. Подыскивая эти



оправдания, они не обращают внимания на происхождение чувства: они стараются оправдаться только потому, что разумное существо должно иметь причины своих симпатий и антипатий, и притом причины — приемлемые. Поэтому история моральных чувств совсем иная, чем история моральных понятий: первые предшествуют действию, последние следуют за действием ввиду необходимости высказаться о них.

Чувства и их происхождение от суждений.

— “Доверяй своему чувству!” Но чувства — не конец и не начало: позади чувств стоят суждения и оценка, которые унаследуются нами в форме чувств (симпатий, антипатий). Настроение, которое ведет свое происхождение от чувства есть внук суждения — часто ложного и во всяком случае не твоего собственного. Доверять своему чувству — это значит повиноваться деду, бабке и их родителям более, чем нашим собственным властелинам — рассудку и опыту.

Глупость благочестия с задней мыслью.

— Как! Изобретатели первобытных культур, древнейшие мастера орудий и межевых снурков, колесниц, кораблей... первые наблюдатели законов движения небесных светил и правил умножения — были нечто несравненно другое и несравненно высшее, чем изобретатели и наблюдатели наших времен? Первые шаги так важны и ценны, что с ними не могут сравниться все наши путешествия и открытия? Так говорит предрассудок, так аргументируют в пользу умаления значения современного духа. И однако, очевидно, что случай тогда был величайшим изобретателем и благотельным внушителем тех изобретательных веков; и что теперь, при одном самом незначительном открытии, ум, образование и научная фантазия действуют в большей мере, чем прежде в целые эпохи вообще.

Ложные заключения из полезности.

— Если доказали высшую полезность вещи, то этим еще не сделали ни одного шага для объяснения ее происхождения: т. е. полезность вещи не говорит еще о необходимости ее существования. Но до сих пор господствовало именно такое превратное суждение — и даже в области самой строгой науки. В астрономии полезность спутников (мнимую) выдали за конечную цель их происхождения, именно, чтобы восполнить каким-нибудь путем свет, ослабленный большим расстоянием от солнца, и чтобы жителям планет не было недостатка в свете. Стоит только вспомнить заключения Колумба: земля сотворена для людей; следовательно, если есть земля, она должна быть заселена. “Возможно ли, чтобы солнце светило даром, и чтобы ночные караулы звезд расточались без пользы на непроходимых морях и безлюдных землях?”

Влечения, преобразованные моральными суждениями.

— Одна и та же склонность развивается в томительное чувство трусости под впечатлением порицания, которым клеймят это чувство обычаи; или в приятное чувство смирения, если нравы, как например, христианские, называют его хорошим: т. е. все дело зависит от того, чиста или не чиста бывает совесть. Сама по себе интересующая нас склонность, как и всякая склонность, не имеет ни этого, ни вообще какого-нибудь морального характера или имени, ни даже определенного сопровождающего ощущения удовольствия или неудовольствия — все это она приобретает только впоследствии, как свою вторую природу, когда она вступает в соприкосновение со склонностями, которых окрестили уже именем хороших или дурных, или когда она является качеством существ, моральная оценка которых уже установлена народом. Так, древние греки понимали зависть иначе, чем мы: Гезиод причисляет ее к действиям доброй, благотельной Эрис, и для них не казалось предосудительным представлять своих богов завистливыми. И это вполне понятно для этой эпохи, душою которой была борьба; а борьба пользовалась тогда высокой оценкой.

Точно так же древние греки понимали надежду иначе, чем мы: им казалась она слепой и коварной. Гезиод говорит о ней в одной басне и притом так странно, так как его рассказ находится в диаметральной противоречии с современным духом, который научился под влиянием христианства видеть в надежде добродетель.

Иудеи понимали гнев иначе, чем мы, и называли его священным; мрачное величие гневного человека представлялось им стоящим на такой высоте, какую европеец не может представить себе: своего гневного Иегову они создали по своим гневным пророкам.

Оценка созерцательной жизни.

— Мы, люди созерцательной жизни, не должны забывать, сколько зла и несчастий принесло созерцание людям активной жизни. Во-первых, брамины, например, ставили своею целью постоянно затруднять жизнь практическим людям и отбивать у них, насколько возможно, энергию к деятельности. Во-вторых, художники; они всегда были людьми нетерпеливыми, капризными, завистливыми, склонными к насилию, беспокойными: такое впечатление, получаемое от них, уменьшает возвышающее и просветляющее впечатление, получаемое от их произведений. В-третьих: философы, совмещающие в себе и религиозную и художественную созерцательную жизнь, рядом с которыми имеет место третья — диалектическая созерцательная жизнь, страсть к доказательствам; они производили на мир такое же влияние как и первые два рода людей, предававшихся

созерцательной жизни, и своей диалектической страстью делали людей нерешительными. В-четвертых, мыслители и ученые; они редко искали влияния на людей, чаще закапывались они тихо в свои кротовые норы; часто они служили не предметом досады и не расположения, а предметом насмешек, и этим против своей воли доставляли облегчение людям активной жизни. Наконец, теперь наука сделалась полезной для всех, и если ради этой пользы очень многие, предназначенные к активной жизни, пошли по пути науки в поте лица своего и не без проклятий, то за это зло на ученых и мыслителей не падает никакой вины: это самоистязание.

Возникновение созерцательной жизни.

— В малоцивилизованные времена, когда господствуют пессимистические суждения о человеке и о мире, индивидуум, чувствуя в себе полноту сил, всегда старается действовать согласно с этими суждениями, т. е. переводить представление в действие, причем пользуется охотой, грабежом, набегом, обманом, убийством, и вообще всякими другими приемами, терпимыми в общине. Когда же сила оставляет его, он чувствует себя утомленным, больным, впадает в уныние или испытывает пресыщение; вследствие этого по временам он впадает в апатию, его желания и страсти притупляются, и он становится сравнительно лучшим, т. е. менее вредным человеком; его пессимистические представления выражаются тогда только в словах и мыслях, например о качестве его товарищей, жены, жизни, богов... Его суждения становятся суждениями дурными. В таком состоянии превращается он в мыслителя, прорицателя; он создает суеверия, новые обычаи, смеется над своими врагами.

Но все, что придумывает он, все создания его духа носят на себе печать его состояния — т. е. страха, утомления, разочарования; содержание этих созданий должно соответствовать содержанию этих поэтических или философствующих настроений: в них должно царить дурное суждение. Позднее все те, которые продолжали делать то, что прежде делал он один в таком состоянии, которые, следовательно, имели дурные суждения, вели меланхолическую и бездеятельную жизнь, они становились то поэтами, то мыслителями, то чародеями; таких людей за их бездеятельность и ничтожество следовало бы исключать из общины. Но это было опасно, — их охраняло суеверие в присутствии у них следов божественных сил; никто не сомневался, что они обладают неведомыми средствами власти. Так смотрели на древнейшее поколение созерцательных натур; их презирали лишь постольку, поскольку не боялись! В таком замаскированном виде, в таком двусмысленном положении, со злым сердцем и часто с беспокойной головой впервые появилось на земле созерцание, сначала слабое и страшное, втайне презираемое, и явно почитаемое с суеверным благоговением! Здесь, как и всюду, можно сказать *pudenda origo*!

Сколько сил должно теперь соединяться в мысли и теле.

— Освобождение от чувственного созерцания и возвышение к абстрактному некогда чувствовалось действительно как возвышение; мы уже не можем более ощущать этого. Парение среди неуловимых образов, игра в такие невидимые, неслышимые, неосязаемые существа чувствовалась тогда как бы жизнь в другом высшем мире, и исходила из глубокого презрения чувственно осязаемого, соблазнительного, злого мира. “Эти абстракты не соблазняют, они руководят!”

В доисторические времена науки этим “высшим миром” была игра в духовность, а не содержание этой игры в духовность. Этим-то и объясняется удивление Платона перед диалектикой и его восторженная вера в ее необходимую связь с хорошим, свободным от чувственности человеком. Были анализированы и открыты способы познания вообще, состояние и те процессы, которые в человеке предшествуют познанию. И всякий раз казалось, что вновь открытый процесс или вновь ощущаемое состояние — не средство к познанию, но содержание, цель, сумма познаваемого. Мыслитель нуждается в фантазии, в полете мысли, в абстракции, в воспоминании, в изобретательности, в догадке, в индукции, в диалектике, в дедукции, в критике, в собирании материала, в созерцании и т. д., но не в справедливости и не в любви ко всему, что там есть; все эти средства считались в истории созерцательной жизни целями, и при том конечными целями, и давали их изобретателям то блаженство, которое нисходит в человеческую душу, когда ей светит конечная цель.

Происхождение и значение.

— Почему мне снова и снова приходит эта мысль и светит мне все в более и более пестрых красках? — что прежде исследователи, если они бывали на пути к происхождению вещей, думали, что они открывают нечто такое, что имеет неоценимое значение для всякого действия и суждения; и даже постоянно предполагали, что от познания происхождения вещей зависит спасение человека; что теперь мы, наоборот, чем дальше подвигаемся к началу вещей, тем меньше интересуемся ими и даже наши оценки вещей и наши “заинтересованности” ими начинают терять свой смысл, чем больше мы углубляемся в познание вещей. Искание начала показывает незначительность начала: но при этом то, что ближе к нам — что около нас и в нас — начинает, мало-помалу, показывать свои краски и красоты, свою загадочность и богатство значения, о которых прежние люди даже и не грезили. Прежде мыслители ходили подобно пойманым зверям, злобно озираясь постоянно на прутья своей клетки и бросаясь на них с целью разбить их, и счастлив казался тот, который думал, что он видит сквозь отверстие что-нибудь из того, что происходит снаружи, по ту сторону, вдали.

Трагический выход познания.

— Из всех средств, способных возвышать человеческие жертвы, наиболее возвышали человека во все времена. Но и это средство могло бы быть превзойдено другим чрезвычайным средством, могущим победить победоносных, — средством приносящего себя в жертву человечества. Но кому в жертву оно могло бы принести себя? Можно клятвенно поручиться, что если когда-нибудь звезда такой мысли появится на горизонте, то значит познание правды осталось единственной великой целью, так как только ей подобает такая жертва, ибо для нее нет слишком большой жертвы. Между тем никогда еще не ставилась проблема, — насколько возможно человечеству, как целому, достичь обладания правдой? Не говоря уже о том, какая страсть к познанию могла бы заставить человечество жертвовать собой, чтобы умереть со светочем мудрости в очах! Может быть, если когда-нибудь целью познания будет поставлен братский союз с жителями других планет, и в течение нескольких тысячелетий будут сообщать свое знание от звезды к звезде; может быть, тогда восторги познания подымутся на такую головокружительную высоту!

Слова в качестве препятствия.

— Древние, ставя слово, воображали, что они делали целое открытие. На самом деле это было далеко не так! Они ставили проблему и, желая разрешить ее, создавали своим приемом препятствия к ее разрешению. — Теперь при каждом познании приходится наткаться на окаменевшие увековечившиеся слова, — и скорее сломаешь ногу, чем слово.

“Познай самого себя” — целая наука.

— Только в конце познания всех вещей человек познает самого себя: вещи только границы человека.

Новое основное чувство: наша бренность.

— Прежде старались создать чувство величия человека тем, что указывали на его Божественное происхождение; теперь этот путь запрещен: у входа на него поставили обезьяну с другим страшным чудовищем, и она внушительно скрежещет зубами, как бы желая сказать: не смей идти по этой дороге! Теперь обратились к другому направлению, к цели, куда идет человечество, и указывают на этот путь, как на доказательство его величия и родства с Богом. Увы! Путь каждого из нас кончается могильным памятником с надписью: *nihil humani*, а не *alienum puto*. На какую бы высокую ступень развития ни поднялось человечество — может быть, в конце оно будет стоять выше, чем в начале! — нет для человечества перехода в высший порядок, Становление (*das Werden*) влечет за собой исчезновение; зачем же из этой вечной игры делать исключения для какой-то планетки! И на этой планетке для одного вида, живущего на ней? Прочь эти сентиментальности!

Вера во вдохновение.

— Люди возвышенных и вдохновенных минут, которые в обыкновенном своем состоянии, по случаю болезни, бывают беспомощны и безутешны, видят в этих минутах свое нормальное состояние как человека, свое “я”; а состояние беспомощности и безутешности считают навеянными из чуже, из “вне я”. И потому они вспоминают об окружающей среде, о своем времени, о всем своем мире со злобным чувством. Вдохновение для них настоящая жизнь, их “я”; во всем остальном они видят преступников, врагов этого состояния, к какой бы области человеческой жизни оно ни принадлежало. Эти фанатики причинили человечеству много зла: они неутомимые сеятели плевел недовольства собою и ближними, презрения эпохой и миром, и вообще муки ми ром. Целый ад преступников едва ли мог бы оказать такое удручающее, заражающее воздух, неприятное влияние и на такое громадное пространство времени, как эти сумасброды, полусумасшедшие, гении, не могущие владеть собою и только тогда испытывающее удовольствие, когда теряют часть сознания, между тем как “преступник” часто обнаруживает в себе значительное самообладание, самопожертвование и рассудительность и вызывает к жизни те же качества у тех, которые его боятся. Быть может, небо становится от него мрачнее, но воздух крепче и свежее. — Кроме того, те фанатики всеми своими силами насаждают веру в восторженность, как в жизни: страшная вера! Как дикари развращаются и быстро вымирают от водки, так и человечество развратилось, опьяняясь духовной водкой: и может быть, пошло уже к разложению.

Каковы мы есть.

— “Будем снисходительны к великим слепцам”, - сказал Стюарт Милль. А я говорю: “будем снисходительны к зрячим великим и малым”, потому что большего, чем снисхождение, мы не можем дать в том положении, в каком мы находимся.

## КНИГА ВТОРАЯ ПРИРОДА И ИСТОРИЯ МОРАЛЬНОГО ЧУВСТВА

Становятся нравственными — не потому что были нравственными.

— Подчинение морали может быть или рабским, или суетным, или своекорыстным, или самоотверженным, или глупо-восторженным, или бессмысленным, или актом отчаяния: в самом по себе в этом еще нет ничего нравственного.

Изменчивость морали.

— Изменяют мораль, работают над ее преобразованием те, кто с успехом совершает все, что ни захочет, каков бы ни был его поступок.

В чем мы все неустойчивы.

— Мы постоянно делаем заключения из суждений, которые считаем ложными, из учений, в которые мы не верим, при содействии наших чувств.

Пробудиться от сна.

— Благородные и умные люди верили когда-то в музыку сфер. Благородные и умные люди верят и теперь еще в “нравственное значение жизни”. Но в один прекрасный день эта сферическая музыка стала не слышна их уху! Они проснулись и увидели, что эту музыку они слышали во сне.

Древнейшие моральные суждения.

— Как поступаем мы при виде человека вблизи нас? — Сначала мы смотрим на то, что из его поступков выйдет для нас; мы смотрим на него только с этой точки зрения. Это следствие мы принимаем за намерение его действий, и, наконец, приписываем ему обладание такими намерениями как бы в постоянное его качество, и называем его, например, “вредным для нас человеком”. Тройное заблуждение, тройная старинная ошибка! Можно ли искать начало морали в этих мелочных выводах: “что мне вредно, то дурно (вредно само по себе)”; “что мне полезно, то хорошо (благодетельно, полезно само по себе)”; “что мне принесло вред один или несколько раз, то враждебно само по себе”; “что принесло мне пользу один или несколько раз, то приятно само по себе”. О *prudenda urigo!* Если кто случайно поступит дурно по отношению к другому, можно ли сказать, что такова его природа и утверждать, что он способен только к таким поступкам, к таким отношениям и к другим, и к себе. Не скрывается ли здесь самая смелая из всех мыслей — что мы сами должны быть принципом блага, если по себе мы мерим добро и зло?

Есть два рода людей, отрицающих нравственность.

— “Отрицать нравственность” — это во-первых, значит: отрицать возможность того, чтобы нравственные мотивы, на которые ссылаются люди, действительно, руководили ими в их действиях, — другими словами это значит утверждать, что нравственность состоит в словах и принадлежит к самым грубым и тонким обманам (именно к самообману) людей, наиболее выдающихся добродетелями. Во-вторых “отрицать нравственность” значит отрицать, что нравственные суждения основываются на истинах. В этом последнем случае предполагается, что нравственные суждения были, действительно, мотивами действия, но что человека привели к его нравственным действиям ошибки, служащие основой всего нравственного суждения. Это — моя точка зрения. Я не отрицаю, что многих поступков, которые называются безнравственными, надобно избегать, и надобно сдерживать их. Я не отрицаю, что следует делать и требовать, чтобы делали многое из того, что называется нравственным. Но то и другое должно стоять на иной почве, чем это было до сих пор. Мы должны переучиться, чтобы наконец, может быть и поздно, достигнуть большего — изменить свои чувства.

Наши оценки.

— Все действия сводятся к оценкам; все оценки бывают или наши собственные или усвоенные; последних гораздо больше. Почему мы их усваиваем? Из страха, — т. е. мы считаем более полезным поставить себя в такое положение, как будто бы они были и наши собственные, и приучаем себя к этому притворству, так что оно, наконец, становится нашей натурой. Иметь собственные оценки — это значит измерять вещь в отношении к тому, сколько удовольствия или неудовольствия делает она именно нам и никому другому; — нечто чрезвычайно редкое. — Но по крайней мере наша оценка другого, в которой лежит мотив, что мы, в большинстве случаев, пользуемся его оценкой, должна же исходить от нас, быть нашим собственным определением? Да, но мы делаем ее будучи детьми и редко пересматриваем ее снова; мы оцениваем наших ближних по-детски и находим нужным преклоняться перед их оценкой.

Мнимый эгоизм.

— Большая часть хотя и говорит и думает постоянно о своем “эгоизме”, однако в течение всей своей жизни ничего не делает для своего эго, но только для фантома этого эго, какой составил о нем в головах окружающей их среды и сообщил им; — вследствие этого все они вместе живут в тумане безличных, полуличных мнений и произвольных, почти фантастических критериев, — один постоянно в голове другого, а этот другой, в свою очередь, в голове третьего: странный мир фантастических образов, который, вдобавок,

умеет придать себе такой трезвый вид. Это облако мнений и привычек растет и живет почти независимо от людей, которых оно покрывает; в нем заключается страшная сила всеобщих суждений о “человеке”; — все эти неведомые сами себе люди верят в лишенный крови и тела абстракт “человека”, т. е. в фикцию; и каждая перемена, которая совершается с этим абстрактом благодаря суждениям отдельных сильных людей (философов, например), действует на массы чрезвычайным образом, — все это потому, что каждый индивидуум в этой массе не может противопоставить этой безжизненной фикции действительного, ему доступного, им обоснованного его и этим уничтожить фикцию.

Против определений моральных целей.

— Цель морали теперь почти всюду определяется так: сохранение и движение вперед человечества. Но это значит хотеть только иметь формулу, и больше ничего. Сохранение — в чем? Движение — куда? Не выпущены ли в формуле самые существенные моменты — ответ на эти “в чем” и “куда”? Какое учение об обязанностях можно создать с этой формулой? Возможно ли из нее угадать, насколько продолжительное существование предстоит человечеству? Очень ли далеко уйдет оно вперед? Как различны должны быть в этих обоих случаях средства, т. е. практическая мораль! Если предположить, что человечеству хотят дать высшую возможную для него разумность это, конечно, еще не значит, что ему дают высшую возможность для него продолжительность существования? Если предположить, что, может быть, это “в чем” и “куда” заключает в себе “высшее счастье”, думают ли при этом о той высшей ступени, которую мало-помалу могут достигнуть отдельные люди? Или о вообще совсем не ожидаемом, но в конце, концов достигаемом среднем счастье всех? Почему же тогда путем к этому должна быть мораль? Разве люди, придерживающиеся морали, не оказывались недовольными собою, ближними и своим жребием?

Наше право на нашу глупость.

— Как поступать? Для чего поступать? При ближайших потребностях индивидуум ответит на эти вопросы очень легко, но чем сложнее, обширнее, важнее становится область действия, тем неопределеннее, а, следовательно, и произвольнее может быть ответ. Но именно произвольность-то и должна быть отсюда исключена! — Так требует авторитет морали. Этот авторитет морали связывает мысль при вещах, где было бы опасно ложно мыслить: — таким образом она обыкновенно оправдывается перед своими обвинителями. “Ложно” здесь значит “опасно”. — Но опасно для кого? Обыкновенно носители авторитетной морали, имеют перед глазами собственно не опасность действующего, но их собственную опасность, возможность для них лишиться власти и значения, как только дано будет всем право поступать произвольно, по собственному большому или малому разумению: т. е. ради самих себя делают они немислимым пользоваться правом произвольности и глупости, — они приказывают даже там, где трудно ответить на вопросы “что делать?” “к чему делать?” И если разум человечества растет так необыкновенно медленно, что часто для всего хода человечества факт этого роста отрицается кто же больше виновен в этом, как не это вездесущие моральных приказаний, которые не позволяют громко поставить индивидуальный вопрос “как? для чего?” Воспитание дает нам патетические чувства и блуждание во тьме, когда разум должен был бы смотреть холодно и ясно! И притом во всех более высоких и важных случаях.

Отдельные положения.

— Если индивидуум хочет счастья, ему не надобно давать никаких предписаний о пути к счастью: индивидуальное счастье вытекает из собственных, неизвестных другим законов; предписания, даваемые извне, могут только тормозить и мешать. — Предписания, которые называют моральными, имеют, в действительности, целью ограничить индивидуумы; если моральные предписания говорят о “счастье и благополучном исходе человечества”, то с такими общими словами нельзя соединять каких-нибудь строгих понятий, не говоря уже о том, что их нельзя поставить маяком на темном океане бурных человеческих стремлений.

Не правда, что бессознательной целью каждого сознательного существа (животного, человека, человечества) служит достижение “высшего счастья”. Напротив, на всех ступенях развития есть особенное, ни с чем не сравнимое, ни высшее и ни низшее, но именно свое особенное, характерное счастье. Развитие ищет не счастья, но только развития и больше ничего.

Только в том случае, если бы человечество имело общепризнанную цель, можно было бы делать предписания: “поступать так-то и так-то”: но такой цели нет.

Если человечеству рекомендовать цель, тогда цель будет мыслиться как нечто такое, что лежит в нашем желании. Но моральные предписания, как таковые, должны стоять выше желания; таких предписаний нельзя давать, их надобно брать, получать откуда-нибудь.

Самообладание и умеренность: их последний мотив.

— Я нахожу только шесть существенно различных методов побороть силу страсти. Во-первых, можно удаляться от поводов для удовлетворения страсти и делать промежутки времени, в которых страсть не будет удовлетворяться, все более и более продолжительными; таким образом, страсть постепенно потеряет свою силу

и замрет. Во-вторых, можно поставить себе законом строгий последовательный порядок в удовлетворении страсти; внося, таким образом, в нее порядок и заключив ее ход и пространство в определенные границы времени, получим промежутки, когда страсть не будет смущать нас, — а отсюда можно перейти к первому методу. В-третьих, можно намеренно отдаться дикому, необузданному удовлетворению страсти, чтобы получить отвращение, а вместе с отвращением и власть над страстью, предполагая, конечно, что будешь поступать при этом не так, как всадник, который, очертя голову, гонит своего коня и ломает себе шею, — чем, к сожалению, часто кончается такая попытка. В-четвертых, есть интеллектуальный прием, именно с удовлетворением соединять какую-нибудь тяжелую мысль так тесно, чтобы после нескольких случаев мысль об удовлетворении тотчас же вызвала тяжелое чувство. Например, у христианина с мыслью о преступлении соединяется мысль о вечном наказании в аду; при мысли о воровстве у нас возникает всегда мысль о презрении, которое падает на нас со стороны уважаемых нами людей; или если кто-нибудь упорному желанию самоубийства в сотый раз противопоставит мысль о том горе, которое причинит родным его поступок, — такие мысли начинают чередоваться в нем как причины и следствия. Сюда принадлежат также и те случаи, когда гордость человека, как, например, у лорда Байрона или Наполеона, возмущается, оскорбляется перевесом отдельного аффекта над всеми чувствами и рассудком: отсюда получается желание тиранизировать страсть и умертвить ее. В-пятых, предпринимают дислокацию своих сил, начиная какую-нибудь тяжелую напряженную работу или намеренно выставляя себя чарам нового удовольствия, — таким образом, и мысли и силы направляются в другую сторону. Равным образом можно временно покровительствовать другой страсти, удовлетворять ее и сделать ее расточительницей тех сил, которыми в противном случае повелевала бы страсть. Иные, правда, умеют также держать в узде отдельную страсть, которая могла бы играть роль повелителя, давая некоторую волю всем другим, известным ему страстям, и позволяя им пользоваться тем запасом, которым хотел воспользоваться неограниченно тиран. Наконец, в-шестых, кто сможет и сумеет ослабить всю свою телесную и духовную организацию и привести ее в угнетенное состояние, тот, конечно, этим достигнет цели обезличения отдельной страсти.

Следовательно, избегать поводов, вводить порядок в страсть, достигать пресыщения и отвращения к ней, вызывать ассоциацию мучительной мысли (стыда, дурного последствия, оскорбленной гордости), дислокацию сил, и, наконец, общее ослабление и истощение — вот эти шесть приемов; но мы вообще не обладаем силой побороть упорство страсти, какой бы прием мы не применяли для этого, и какой бы успех не имели. Вернее сказать, при всем этом процессе наш интеллект является только слепым орудием другой страсти, играющей роль соперника той, которая мучит нас; желание-ли это покоя, страх перед позором и другими дурными последствиями или любовь. В то время как мы думаем, что “мы” жалуемся на одну страсть, это, в сущности, жалуется одна страсть на другую. Боль от страсти ощущается потому, что есть другая такая же сильна, а может быть и более сильная страсть; потому что этим страстям предстоит вступить в борьбу, в которой должен принять участие наш интеллект.

То, что сопротивляется.

— Можно наблюдать на себе следующий процесс, и я хотел бы, чтобы он наблюдался часто и подтвердился. В нас возникает чутье известного рода удовольствия, которого мы еще не знаем, и, следовательно, возникает новое требование. Теперь дело в том, что сопротивляется этому требованию: это — вещи и соображения общего свойства; люди, к которым мы относимся без большого уважения, — таким образом, цель нового требования облекается чувством “благородного, хорошего, достойного похвалы, достойного жертвы”, пропитывается всем унаследованным моральным запасом, — и мы уже не думаем больше о своем удовольствии, мы стремимся быть только моральными, а от этого зависит и твердость нашего стремления.

Объективность.

— Кто, как дитя, усвоил от своих родных и знакомых, среди которых он вырос, разнообразные и сильные чувства, но мало тонкого суждения и стремления к интеллектуальной справедливости, и таким образом употребил лучшие свои силы и время на подражания чувствам, — сделавшись взрослым, он замечает, что каждая новая вещь, каждый новый человек возбуждают в нем симпатии или отвращение, зависть или презрение; под впечатление этого опыта, против которого он чувствует себя бессильным, он удивляется нейтральности чувства или “объективности” как чуду, как свойству гения и самой редкой морали; он не хочет верить, что оно только дитя воспитания и привычки.

Естественная история обязанности и права.

— Наши обязанности — права других на нас. В силу чего они приобрели их? В силу того, что они считали нас способными к договору и к отплате, ставили нас наравне с собою, так что они доверяли нам что-нибудь, воспитывали нас, наставляли нас на путь, поддерживали нас. Мы исполняем нашу обязанность, т. е. — мы оправдываем то представление о нашей способности, предположением о которой было вызвано все то отношение к нам, мы отдаем назад в той мере, в какой давали нам. Наша гордость заставляет нас исполнять обязанность, мы хотим восстановить нашу самостоятельность, независимость, противопоставляя тому, что сделали другие для

нас, что-нибудь такое, что делаем мы для них: если бы мы своей “обязанностью” не давали вознаграждения тем, кто что-нибудь сделал для нас, т. е. если бы мы не вторгались в сферу их силы и способностей, то они долго держали бы над нами свою руку. Только того, что находится в нашей власти, могут касаться права других: было бы неразумно, если бы они захотели иметь от нас что-нибудь такое, что не принадлежим нам самим. Точнее сказать — только того, что считают они в нашей власти, при условии. Что и сами мы считаем это находящимся в нашей власти. С той и с другой стороны легко может выйти одинаковая ошибка: чувство обязанности связано с тем, что мы одинаково с другими имеем ту же самую веру в объем нашей власти: именно с тем, что мы обещаем, что мы можем взять на себя такую-то обязанность (“свобода воли”).

Мои права: т. е. та часть моей власти, которую не только дали мне другие, но и в которой они хотят иметь меня. Каким образом эти другие доходят до этого? Во-первых, их доводят до этого соображение, страх и осторожность: будь это потому, что они ожидают от нас подобного же к ним отношения (охрана своих прав) или потому, что считают борьбу с нами опасной или не целесообразной, или, наконец, потому что во всяком уменьшении наших сил они усматривают ущерб для себя, так как тогда мы оказались бы негодными для союза с ними в борьбе против третьей враждебной власти. Во-вторых, здесь может играть роль дарение и отказ: в этом случае другие имеют достаточно или слишком достаточно власти, чтобы быть в состоянии дать нам часть ее и за отданную часть поручиться тому, кому они подарили ее; при этом необходимо условие существования небольшого чувства власти у того, кто получает дар. Так возникают права: признанные и обеспеченные степени власти. При переменах в отношениях власти права исчезают и образуются новые, — это показывают международные права в их постоянном исчезновении и возникновении. Если наша власть существенно уменьшается, то изменяется чувство тех, которые прежде обеспечивали нам нашу власть: они рассчитывают, могут ли они снова привести нас в наше прежнее положение; если они чувствуют себя не в состоянии сделать это, то отрицают тогда наши “права”. Равным образом, если наша власть значительно усиливается, то изменяется чувство тех, которые признавали ее до сих пор, и в признании которой мы более не нуждаемся: они будут пытаться, правда, низвести ее на прежнюю степень, будут вмешиваться, ссылаться на свою “обязанность”, — но это только бесполезное словоизлияние. Где господствует право, там поддерживаются состояние и степень власти, там борются против усиления и ослабления. Право других — уступка нашего чувства власти чувству власти этих других. Если наша власть потрясается и падает, наши права исчезают: и наоборот, если мы становимся гораздо могущественнее, то исчезают права других на нас, так как мы до сих пор уступали их. “Справедливый” человек постоянно нуждается в таком такте весов: для размеров власти и размеров Права; так как они, при непостоянстве всего человеческого, становятся на равновесие только на очень короткое время, но большею частью то та, то другая чашка весов перетягивает. Следовательно, быть справедливым трудно, для этого требуется много навыка, опытности, доброй воли и еще больше хорошего духа.

#### Стремление к отличию.

— Стремление отличиться постоянно имеет в виду ближнего и хочет знать, что у него от этого на душе; но то чувство, которого требует для своего удовлетворения эта страсть, далеко от добродушия, сострадания, доброты. Хотят знать или угадать, как человек страдает внешне или внутренне от нас, как теряет он силу над собою и отдается впечатлению, которое производит на него наша рука или только наш взгляд; и даже если стремящийся к отличию производит и хочет производить приятное, возвышающее, радующее впечатление, все-таки он наслаждается своим успехом не потому, что он при этом радовал, возвышал своего ближнего, но потому что он производил впечатление на чужую душу, менял ее форму и распоряжался ею по своему желанию. Стремление к отличию есть стремление к победе над ближним, будь она только очень посредственная, или только чувствуемая, или только воображаемая. Длинный ряд ступеней этой втайне желаемой победы, и подробное описание их составило бы целую историю культуры от первого карикатурного варварства вплоть до карикатуры утонченного и болезненного идеализма. Стремление к отличию приносит с собою для ближнего (назову только несколько ступеней этой длинной лестницы), страдания, потом удары, потом страх, потом болезненное изумление, потом зависть, потом удивление, потом нравственный подъем, потом радость, потом веселость, потом смех, потом насмешку, потом удары, потом пытку... Здесь в конце лестницы стоит аскет.

В действительности, счастье, мыслимое как самое живое чувство власти, может быть, нигде на земле не было больше, как в душах суеверных аскетов. Об этом свидетельствуют брамины в истории царя Вишвамитра, который из тысячелетних покаяний почерпнул такую силу, что предпринял создать новое небо. Я думаю, что во всем этом роде душевных переживаний мы теперь — неопытные новички, могущие только ощупью подойти к разгадке; четыре тысячи лет тому назад об этих утонченных самонаслаждениях знали больше.

#### О познании страдающего.

— Состояние больных людей, которых долго и страшно мучили их идеи, и ум которых, не смотря на это, не омрачен, не лишено цены для познания, не говоря уже об интеллектуальных благодеяниях, которые приносят с собой каждое глубокое уединение, каждая минутная и дозволенная свобода от всех обязанностей и привычек. Тяжело страдающий смотрит на не касающийся его внешний мир со страшной холодностью: все те маленькие обманчивые чары, которыми обыкновенно окутаны бывают вещи, когда смотрит на них глаз здорового человека,

исчезают пред больным. Если до сих пор он жил в каком-нибудь опасном бреду, боль отрезвит его, выведет его из этого состояния, она может быть для него единственным спасительным средством. Страшное напряжение интеллекта, желающего оказать сопротивление боли, производит то, что человек видит все в новом свете; и то невыразимое очарование и возбуждение, которые испытываются при взгляде на вещи в новом освещении, часто обладают такой значительной силой, что оказывают сопротивление всем соблазнам к самоубийству, — и страдающий начинает чувствовать сильное желание жизни. С презрением вспоминает он об уютном мире, в котором живет здоровый человек, мало думая, мало давая себе здравого отчета о том, что совершается вокруг него; с презрением вспоминает он о самых благородных, самых любимых им иллюзиях, в которые прежде он играл сам с собою; он наслаждается теперь тем, что он вызывает это презрение как бы из глубины ада и доставляет душе самое горькое страдание: это служит ему противовесом физической боли, — он чувствует, что ему теперь необходим именно этот противовес! В этом ужасающем ясновидении он взывает: “Будь же своим собственным обвинителем и палачом! Прими же свое страдание, как кару, наложенную на тебя тобой самим! Размышляй о самом себе, как судья; более того, поступай с собой с тираническим произволом! Стань выше своей жизни, как выше своего страдания! Смотри вниз на почву и на беспочвенность!” Наша гордость возмущается, как еще никогда, против такого тирана как боль, и против всех тех внушений, какие она делает нам, стараясь заставить нас высказываться против жизни, — против этого-то тирана наша гордость и старается защитить жизнь. В этом состоянии с ожесточением защищаются против всякого пессимизма, боясь, как бы он не явился следствием нашего состояния и одолел нас, не подавил бы нас окончательно. Никогда побуждение быть справедливым в суждениях не бывает больше, чем теперь, так как теперь оно дает нам триумф над нами и над самым опасным из всех состояний, могущим извинить всякую несправедливость суждения; но мы не хотим оправдываться, именно теперь мы хотим показать, что мы можем быть “без вины” Мы находимся в настоящем припадке гордости.

И вот является первый рассвет выздоравливания, — и почти первым следствием этого является то, что мы защищаемся против господства вашей гордости: мы называем себя глупыми и суетными, как будто бы мы пережили что-нибудь такое, что было необыкновенным, странным! Вместо благодарности мы унижаем всемогущую гордость, которая помогла нам перенести боль и настойчиво ищем противоядие гордости: мы хотим ослабить себя, обезличиться, после того как боль дала нам силу и личность. “Долой, долой эту гордость! — кричим мы, — она была болезнью, она была припадком!” Мы опять смотрим на человека и природу более жаждающими взорами: грустно улыбаясь, мы припоминаем, что мы знаем теперь об них нечто новое и другое, чем прежде, что покрывало спало — но нам так приятно, что мы снова видим тусклый свет жизни, что мы выходим из страшного, трезвого ясновидения, в котором мы во время страданий смотрели на вещи и дальше сквозь вели. Мы не сердимся на то, что снова начинают играть чары здоровья, — мы смотрим на это как бы испытывая какое-то превращение, выздоравливающие, но все еще утомленные. В этом состоянии нельзя слушать музыки без слез.

Так называемое “я”.

— Язык и предрассудки, на которых построен язык, часто мешают нам выяснить сущность внутренних процессов и желаний, например, вследствие того, что существуют только слова для превосходной степени этих процессов и желаний, а мы привыкли не всматриваться в состояния и факты, если для них недостает слов, потому что там трудно точно мыслить; поэтому обыкновенно заключают, что там, где прекращается область слова, прекращается также и область бытия. Гнев, ненависть, любовь, сострадание, страсть, радость, горе, — все это имена для обозначения крайних состояний: средняя и низкая ступень их ускользает от нас, а между тем они-то и ткнут тонкую паутину, составляющую и наш характер, и нашу судьбу. Те крайние взрывы очень часто рвут паутину и составляют исключения, — а между тем они могут ввести наблюдателя в заблуждение и не только наблюдателя, они вводят в заблуждение и самого действующего человека. Все мы представляем собою, в сущности, не то, чем мы кажемся в наших крайних состояниях, которые одни только и можно знать и о которых одних только можно говорить, а следовательно, порицать нас или хвалить. Мы несправедливо судим о себе по этим грубым, легко осязаемым порывам, которые одни только известны нам; мы делаем заключения на основании такого материала, в котором больше исключений, чем правил; мы ошибаемся при чтении этих, по-видимому, только слишком ясных букв нашего “я”. Но наше мнение о себе, составленное таким ложным путем, так называемое наше “я” влияет на наш характер и на нашу судьбу.

Неизвестный мир “субъекта”.

— С чем человеку труднее всего согласиться — это со своим незнанием о самом себе; и это относится ко всей истории от древнейших времен до настоящего! Не только в вопросах о добре и зле, но даже и в вопросах гораздо более существенных! Жива еще старинная иллюзия, что можно знать, и притом вполне точно, о сущности и свойствах каждого поступка человека. Не только само лицо, совершающее какое-либо действие и, следовательно, обдумывающее его, — нет! Даже всякий другой не сомневается, что он будто бы понимает самую сущность в процессе действия каждого другого. “Я знаю, чего я хочу; я знаю, что я сделал; я свободен и отвечаю за это, я могу назвать все нравственные силы, все внутренние движения, сопровождающие действие; вы можете поступать, как вы хотите, я понимаю и себя, и всех вас!” Так думал прежде каждый. Сократ и Платон, великие



скептики и достойные удивления реформаторы, верили однако в это проклятое заблуждение, в эту глубочайшую ошибку, — что “за правильным познанием должно следовать правильное действие”; в этом принципе они оказались наследниками всеобщего заблуждения, всеобщего высокомерия: что будто бы можно знать сущность действия. “Было бы страшно, если бы человек, понимая, в чем состоит правильный образ действия, не поступал бы так”, — вот единственный довод, которым те великие мыслители старались оправдать свой принцип; противоположное им казалось немислимым, глупым. А между тем это противоположное является голой действительностью, подтверждаемой испокон века ежедневно и ежечасно! Не заключается ли “страшная” правда в том, что то, что вообще можно знать о таком-то поступке, никогда не бывает достаточным для того, чтобы заставить совершить его, что до сих пор не построен еще мост, связывающий воедино знание о поступке с самим поступком? Поступки никогда не бывают тем, чем они кажутся нам! Нам стоило такого громадного труда понять, что вещи не есть то, чем они кажутся нам, — с внутренним миром дело обстоит точно так же! Моральные действия в действительности, “нечто другое”, чем они кажутся нам; и все действия человека, в сущности, нам неизвестны. Противоположное мнение было и теперь продолжает быть всеобщей верой: против нас действует древнейший реализм; человечество думало до сих пор: “поступок человека есть то, чем он кажется нам”. (При пересмотре этого места я вспомнил очень выразительные слова Шопенгауэра, которые я хочу привести в доказательство того, что и он, без всяких колебаний, стоял за этот моральный реализм и таким остался навсегда, “Действительно, каждый из нас, — говорит он, — компетентный и вполне моральный судья, точно знающий добро и зло, святой, если он любит добро и презирает зло”. Все это относится к тому, кто должен оценивать не свои собственные, а чужие поступки и одобрять их или не одобрять, а тяжесть исполнения несется на чужих плечах.

В клетке.

— Мой глаз, все равно сильный он или слабый, видит только небольшое пространство; в этом небольшом пространстве я движусь и существую, и этот горизонт есть предназначенный для меня мир, откуда я не могу выйти. Около каждого существа лежит такой концентрический круг, имеющий один центр и предназначенный для этого центра. И ухо, и осязание так же замыкают нас в небольшое пространство. По этим горизонтам, в которые, как в тюрьмы, запирают нас наши чувства, мы мерим весь мир, мы знаем это близким, а то далеким; это большим, а то малым; это жестким, а то мягким: эту Муку мы называем ощущением. И это все, все, в сущности, ошибки! По количеству опыта и возбуждений, которые возможны для нас в известный промежуток времени, считают жизни длинной или короткой, бедной или богатой, полной или пустой: и по средней человеческой жизни мы мерим жизнь всех других творений, — это все, все, в сущности ошибки! Если бы мы имели глаза, видящие в даль на пространство, в сто раз большее, человек казался бы нам несравненно большим; можно представить себе даже такую силу органов, с помощью которой человек ощущался бы неизмеримым. С другой стороны, органы могут быть такие, что вся солнечная система могла бы представляться тесной, маленькой ячейкой: а существу противоположного порядка одна клетка человеческого тела могла бы казаться громадной, как солнечная система, движущаяся, построенная по строгому закону. Свойства наших чувств вводят нас в обман ощущений, которые, в свою очередь, служат руководителями наших суждений и “познаний”, — следовательно, в действительный мир нет хода! Мы сидим в своей клетке, мы — пауки, и все, чего мы ни ловим, мы не можем поймать, разве только это само собою залетит в нашу клетку.

Что такое ближний?

— Что знаем мы о нашем ближнем; о том ближнем, который соприкасается с нами, который влияет на нас? О нем мы не знаем ничего, кроме тех перемен, которые происходят в нас, и причиной которых он бывает, — наше знание о нем равняется пустому имеющему форму пространству. Мы приписываем ему ощущения, которые вызываются в нас его поступками, и даем ему такую ложную, извращенную позитивность. Сообразно с нашим знанием о самих себе, мы делаем его спутником нашей собственной системы: если он светит или затемняется, и мы последняя причина того и другого, — то мы думаем все-таки наоборот! Мы живем в мире фантазий! В мире извращенном, вывернутом на изнанку, пустом, но полном ясных сновидений!

Жизнь и фантазия.

— Как бы далеко ни простирали кто-нибудь своего самосознания, ничто не может быть так неполно, как картина всех влечений, составляющих его существо. Едва ли он будет в состоянии назвать по имени наиболее резкие из них: их число и сила, их прилив и отлив, их борьба между собой, и прежде всего законы их питания, останутся ему почти неизвестными. Их питание становится, следовательно, делом случая: наша жизнь ежедневно бросает добычу то тому, то другому влечению, которую оно с жадностью пожирает. Но весь ход нашей жизни стоит вне всякой разумной связи с потребностями питания всего комплекса влечений: так что постоянно одно из них голодает и страдает, а другое пресыщается. В каждый момент нашей жизни растут те или другие полипы нашего существа, смотря по тому, какие из них получают питание в данное время. Наши опыты являются, в этом смысле, средствами питания, но разбросанными слепой рукой, не обращающей внимания на то, кто голодает в эту минуту и кто пресыщен. И вследствие этого случайного питания частей, выросший полип представляет

собою нечто случайное, как и следовало ожидать от его подверженного случайностям развития. Яснее сказать: предположим, что влечение дошло до такой степени развития, что требует удовлетворения, — оно начинает смотреть на каждое событие дня сквозь призму своего состояния — нельзя как-нибудь воспользоваться этим событием для своей цели; идет ли человек или лежит, читает или говорит, сердится или радуется, — влечение в своей жажде одинаково хватается за каждое состояние, в котором находится человек; и если оно не найдет для себя подходящей пищи, оно идет и снова жаждет: пройдет несколько времени, и оно начинает вянуть; пройдет еще несколько дней или месяцев неудовлетворения, и оно начинает сохнуть, как растение без дождя. Может быть, эта жестокость случая еще резче бросалась бы в глаза, если бы все влечения требовали такого удовлетворения, как голод, который не удовлетворяется пищей грез; но большинство влечений, так называемые моральные влечения, делают именно это: наши сны имеют именно такое значение — компенсировать влечения до известной степени, случайный недостаток пищи во время дня. Почему вчерашний сон был полон ласки и слез; позавчерашний — шутив и резв; а наемнишний — странен и грустен? Почему в одном я наслаждаюсь неописуемыми красотами музыки, а в другом я летаю на далекие горные вершины с наслаждением орла? Эти фантазии, которые дают простор и пищу и позволяют, так сказать, разряжаться нашим влечениям нежности, или шутовства или причудливости, или нашим стремлениям к музыке и горам, — не что иное как интерпретации, делаемые нашими нервными раздражениями во время сна, очень свободные, очень произвольные интерпретации к движениям крови, звукам башенного колокола, нажиманию одеяла и другим физиологическим и внешним явлениям. Этот текст, в общем, остается постоянно одним и тем же для каждой ночи, но интерпретируется так различно, что творящий ум представляет себе различные причины вместо одних и тех же нервных раздражений: это объясняется тем, что суфлер этого ума сегодня был другой, чем вчера, — другое влечение хотело удовлетвориться, другое влечение искало возможности разразиться, действовать; его волны поднялись сегодня наверх, а вчера наверху были волны другого влечения.

Действительная жизнь не имеет такой свободы интерпретации, как сны: в ней меньше вымыслов, она не так необузданна, — но надобно ли говорить, что наши влечения в бодрствующем состоянии есть тоже интерпретация нервных возбуждений? Что между бодрствованием и сном нет существенной разницы? Что даже при сравнении очень различных культурных ступеней свобода интерпретации в бодрствующем состоянии на одной ступени ни в чем не уступает свободе интерпретации в сонном состоянии — на другой? Что наши моральные суждения и критерии суть только образы и фантазии о неизвестном нам физиологическом процессе, способ языка обозначать известные нервные раздражения? Что все наше так называемое сознание есть более или менее фантастический комментарий к непонятому, а может быть, и непостижаемому, но чувствуемому тексту?

Возьмем пример. Предположим, мы, проходя по улице, замечаем, что кто-нибудь смеется над нами: смотря по тому, то или другое влечение в нас стоит на своей высоте, этот случай будет иметь для нас то или другое значение, и смотря по тому, что я за человек, случай примет тот или другой характер. Один принимает это как дождевую каплю, другой старается стряхнуть это с себя как отвратительное насекомое; третий постарается сделать из этого ссору; четвертый начинает осматривать свое платье, ища, нет ли на нем чего-нибудь подавшего повод к насмешке, пятый начинает раздумывать, по поводу этого, о смешном и т. д. — и в каждом случае влечение нашло свое удовлетворение, каково бы оно ни было — будь это влечение к гневу, к спору, к размышлению. Влечение хватается факт как добычу. Почему? Потому что оно, терпя голод и жажду, стоит на стороже. Недавно утром, около 11 часов, на улице вдруг упал передо мной человек, как бы пораженный молнией; женщины, шедшие по близости, громко вскрикнули; я поставил его на ноги и ждал, когда возвратится к нему язык, — между тем у меня не дрогнул ни один мускул в лице, и не шевельнулось даже чувство сострадания: я сделал только то, что можно и необходимо было сделать, и равнодушно пошел дальше. Предположим, что мне накануне еще было сообщено, что завтра, около 11 часов утра некто упадет итаким образом около меня, — сколько всевозможных страданий я перенес бы в ожидании этого, я не спал бы ночь, и в решительную минуту я не только не помог бы несчастному, но и со мной самим случилось бы что-нибудь подобное. А между тем всевозможные влечения имели бы время представить себе и прокомментировать то, что я переживаю. — Что же такое то, что мы переживаем? Скорее — то, что мы влагаем в него, чем то, что в нем лежит! Пожалуй, не вернее ли будет сказать, что в нем ничего не лежит? Переживать не значит ли фантазировать?

К успокоению скептика.

— Я совсем не знаю, что мне делать? Я совсем не знаю, что я должен делать? Ты прав; но не сомневайся в том, что тебя делают и притом в каждую минуту! Человечество постоянно чередовало *activum* и *passivum*: это его вечная грамматическая ошибка.

“Причина и следствие”.

— В этом зеркале — и наш ум тоже зеркало — происходит нечто, обнаруживающее правильность: известная вещь всякий раз следует за известной вещью; мы — глупцы — называем это причиной и следствием! Как будто бы мы могли понять и поняли там что-нибудь? Мы даже не видели ничего, кроме изображений “причин” и “следствий”. А такой характер появления перед нами “причин” и “следствий” делает невозможным понимание

более существенной связи, чем связь простой последовательности.

Цели в природе.

— Кто беспристрастно будет исследовать историю глаза у низших тварей и покажет все постепенное развитие глаза, тот должен будет прийти к великому выводу: что происхождение глаза не обуславливалось целью “видеть”; и что эта способность явилась только тогда, когда случай сформировал аппарат. Один такой пример, — и “цель”, как чешуя, спадает с наших глаз.

Разум.

— Каким образом разум вошел в мир? Само собою разумеется, неразумным образом, случайно.

Что такое — хотеть?

— Мы смеемся над тем, кто выходит из своей спальни в ту минуту, когда солнце выходит из своей, и говорит: “я хочу, чтобы солнце взошло”. Мы смеемся и над теми, кто, не будучи в состоянии остановить вертящееся колесо, говорит: “я хочу, чтобы оно вертелось”. Мы смеемся так же и над тем, кто, пав в поединке, говорит: “я лежу здесь, но я хочу здесь лежать”. Но, помимо шуток, другой ли смысл бывает в наших словах всегда, когда мы говорим: “я хочу”?

О “Царстве свободы”.

— Гораздо, гораздо больше можем мы передумать, чем сделать или пережить, — это значит, что наше мышление поверхностно, и довольствуется поверхностным; оно даже не замечает этого. Если бы наш интеллект был развит строго по мере нашей силы, то мы могли бы понимать только то, что могли делать, — если только вообще возможно понимать. Жаждающий не имеет воды, но его мысли рисуют перед его глазами постоянно воду, как будто бы не было ничего легче как достать ее; — поверхностный, легко удовлетворяющийся интеллект не может понять настоящую, испытывающую нужду, потребность, и чувствует при этом свое превосходство: он гордится тем, что он больше может, что он быстрее бежит, что в одно мгновение он бывает у цели, — и эта область мыслей в сравнении с областью дела, воли, жизни кажется областью свободы, между тем как это только область поверхностностей и умеренности.

Забывать.

— Не доказано, что есть забвение; что мы знаем — это единственно то, что “воспоминание” не в нашей власти. В этот пробел нашей власти мы поставили покамест слово “забывать”, как бы для того, чтобы был больший инвентарь наших владений. Что же, в таком случае, стоит в нашей власти? Если то слово стоит в пробеле нашей власти, то не стоят ли другие слова в пробеле нашего знания и нашей власти?

Сон и ответственность.

— Во всем вы хотите быть ответственным! Только не за ваши сны! Какая жалкая слабость, какой недостаток мужества быть последовательным! Нет у вас большей собственности, чем ваши сны! Нет другого более принадлежащего вам дела! Материал, форма, актер, зритель, — все это в этих комедиях представляете вы сами! И здесь боитесь и стыдитесь вы самих себя, и уже Эдип, мудрый Эдип, умел почерпнуть себе утешение из мысли, что мы не несем никакой вины за то, что мы грезим и из этого я заключаю, что большое число людей помнит, вероятно, отвратительные грезы. Надобно ли прибавлять, что мудрый Эдип прав, что мы, действительно, не ответственны за наши сновидения, но точно так же не ответственны и за наше бодрствующее состояние, что учение о свободе воли имеет своим отцом и матерью гордость и чувство силы человека? Я говорю об этом, может быть, слишком часто: но что делать, если это — правда.

Мнимая борьба мотивов.

— Говорят о “борьбе мотивов”, но обозначают этим термином борьбу, которая не есть борьба мотивов. Именно в нашем размышляющем сознании выступают перед поступком по порядку последствия различных поступков, которые все мы можем сделать, — и мы сравниваем эти последствия. Мы выскажемся за такой поступок, следствия которого, по нашим расчетам, будут наиболее благоприятны для нас. Прежде чем наш расчет придет к такому выводу, мы часто сильно страдаем вследствие трудности отгадать последствия, видеть их во всей их силе, и притом не опуская ни одного: кроме того, расчет должен считаться и со случайностями. Но самое трудное, это то, что все последствия, которые так трудно определить в отдельности, мы должны сравнить и взвесить; а для произведения этой казуистики у нас часто недостает ни весов, ни гирь, так как качество всех возможных последствий бывает очень различно. Но предположим, что мы справились со всем этим, — тогда мы имеем в картине следствий такого-то поступка мотив совершить именно этот поступок. Мотив! Но в ту мину ту, когда мы начинаем действовать, мы часто руководимся мотивами другого рода, чем тот, о котором мы говорили сейчас и который, в сущности, есть “картина следствий”. Здесь начинает оказывать свое влияние привычка, принятие во внимание лиц, которых мы боимся или уважаем, или любим, или удобства, или возбуждение

фантазии; — здесь оказывает свое влияние и наш организм, который прежде не принимался в расчет; здесь оказывает свое влияние и прихоть; здесь оказывают свое влияние и аффекты, которые имеют в полном смысле слова случайный характер. Короче сказать, здесь оказывают свое влияние мотивы, которых мы или вовсе не знаем, или знаем очень плохо, и которых, следовательно, мы никогда заранее не принимаем в расчет при взвешивании возможных последствий. Вероятно, что и между ними существует борьба; вероятно, что один мотив старается побороть другой; вероятно, чашки весов, взвешивающих эти мотивы, поднимаются и опускаются: это была бы настоящая “борьба мотивов”, но она для нас совершенно невидима и неосознаваема. Я рассчитал следствия и выгоды, и поставил в боевую линию мотивов этот самый существенный мотив, но я не вижу этой боевой линии и не я ставлю ее; от меня скрыта и борьба и победа; — я, правда, знаю, что в конце концов мне надобно делать, но я не знаю, какой мотив остался победителем. Мы привыкли не принимать в расчет этих бессознательных процессов и подготавливать поступок лишь постольку, поскольку это подготавливание осознаемо: и таким образом, мы смешиваем борьбу мотивов с сравнением возможных поступков, — смешение очень важное и вместе с тем очень вредное для развития морали!

### Цели? Намерения?

— Мы привыкли верить в два царства — в царство целей и намерений, и в царство случайностей: идет, стоит, падает, — и никто не может сказать, зачем? Для чего? Мы боимся этого могучего царства великой космической бессмыслицы, которая вторгается в другой наш мир — мир целей и намерений падает туда, точно черепица с крыши и поражает насмерть какую-нибудь нашу хорошую цель. Эта вера в два царства — не более и не менее как романтизм и басня, ведущие свое начало из незапамятных времен: мы — умные карлики, с нашей волей, с нашими целями, подавлены, сбиты в кучу глупыми-преглупыми великанами — случайностями, но это соседство дает нам и поэзию, так как, те чудовища часто являются к нам в ту минуту, когда наша жизнь в паутине наших целей становится слишком осмотрительна и робка, являются и оживляют нас, разрывая своими всесокрушающими руками нашу паутину, но не потому, чтобы они, эти безрассудные, хотели помочь нам. Они даже и не замечают нас, а просто своими грубыми руками проводят по нашей паутине, точно по воздуху. Греки называли это царство бессознательной, вечной неразумности — судьбой, и, как горизонтом, окружали ей своих богов; и за пределами этой линии их боги не могли ни действовать, ни видеть.

В настоящее время говорят: пора нам научиться, что в нашем царстве целей и разума не карлики, а великаны! И наша паутина так же часто и сильно разрывается нами самими, как и черепица с крыши! Да и не все то бывает целью, что называют именем цели, и еще реже бывает волей то, что называется волей! А если вы скажете: “так неужели есть только одно царство — царство случайностей и неразумия?”, то можно прибавить: да, может быть, есть только одно царство, может быть, нет ни воли, ни целей, и мы создали их себе. Те железные руки необходимости, которые трясут зерновой кубок случая, играют в свою игру в бесконечное время: и иногда они могут бросить так, что становится несколько похожим на целесообразность и разумность. Может быть, наши волевые акты, наши цели не что иное, как такое бросание игральных костей, и только благодаря нашей ограниченности, нашей гордости, мы не понимаем своей ограниченности: что мы сами, при всех своих даже наиболее тонко рассчитанных намерениях, только играем в игру необходимости.

### ПРЕДРАССУДКИ АЛЬТРУИСТИЧЕСКОЙ И СОСТРАДАТЕЛЬНОЙ МОРАЛИ

#### Моды в морали.

— Как меняются моральные суждения! Величайшие светила античной нравственности, например Эпиктет, ничего не знали о так прославляемой теперь заботе о других, жизни для других; мы, с точки зрения своей теперешней моральной моды, назвали бы их прямо безнравственными, так как они всеми силами боролись за свое ego и против сочувствия другим, их страданиям и их нравственным порокам. Может быть, они ответили бы нам: “Если вы сами обладаете чем-нибудь мучительным и отвратительным, то считайте, по крайней мере! других лучшими, чем вы сами! И вы поступите хорошо!”

#### Отзвуки христианской морали.

— “Только сострадательный может быть хорошим человеком; следовательно, надобно быть постоянно сострадательным” — вот что говорит теперь мораль! Откуда ведет свое начало это учение морали? — Только тот человек может быть назван и чувствоваться моральным, чьи поступки лишены личного интереса и направлены на общую пользу, — этот переворот в умах был произведен в Европе христианством. Позднейшие французские мыслители сделали попытку заменить догматы культом любви к человеку, и Огюст Конт, в конце концов, выставил свою, не существующую в христианском учении моральную формулу “жить для другого”. В Германии Шопенгауэр, в Англии Джон Стюарт Милль содействовали развитию учения о симпатии и сострадании или о пользе другим, как о принципе наших поступков; но они сами были только эхом — такие теории, обладая могучей растительной силой, начали вырастать всюду, и в грубых, и в изящных формах, приблизительно со времени французской революции; и все социалистические системы произвольно встали на общую почву этих учений. Может быть, в настоящее время нет еще ни одного предрассудка, которому бы больше верили, кроме

того, что будто знают, что такое мораль. Кажется, что теперь каждому приятно слышать, что общество намерено приспособить отдельное лицо в потребностях общества, и что счастье и вместе с тем жертва отдельного лица заключается в том, чтобы чувствовать себя полезным членом и орудием целого: только теперь пока еще очень колеблются, что надобно понимать под этим “целым” — существующее ли или какое-нибудь другое идеальное государство, или панно, или братство народов, или отдельные маленькие экономические общины. Об этом много думают, сомневаются, спорят с большим возбуждением и страстностью; но с удивительным единодушием требуют, чтобы его отреклось от самого себя до тех пор, пока в форме приспособления к целому оно опять получит свой полный и прочный круг прав и обязанностей, пока не явится нечто совершенно новое и другое. Хотят добиться не больше — не меньше как того, чтобы индивидуум изменился в самом корне своем, ослабился или даже уничтожился: не переставая, всюду и все толкуют о том, что всякое зло, всякое враждебное чувство, распушенность, роскошь, мотовство, все это плоды современного индивидуализма; и свои жалобы на этот порядок сопровождают надеждами и мечтами о более простом, более умеренном, более равномерно устроенном образе жизни. Если только возможны еще великие тела и их члены. Каким хорошим чувствуется и представляется все то, что соответствует этому влечению, образующему тело и его члены, это — основное моральное течение нашего времени: сочувствие и социальное чувство переходят одно в другое. (Кант стоял еще вне этого движения: он определенно учит, что мы должны оставаться нечувствительными к чужим страданиям, что Шопенгауэр, слишком раздраженно, называет кантовской нелепицей).

Не думать более о себе.

— Вполне основательно рассуждать: зачем бросаться за человеком, упавшим в воду, если к нему не чувствуешь расположения? Из сострадания: тогда думают только о другом, — говорит бессмыслица. — Почему испытывают боль и неприятное чувство, когда видят, что кто-нибудь кашляет кровью, хотя бы к этому больному были расположены враждебно? Из сострадания: при этом не думают о себе, — говорит та же бессмыслица. И правда: в сострадании я разумею здесь то, что ошибочно называется обыкновенно состраданием — мы уже не думаем о себе сознательно, но очень бессознательно, подобно тому как, оступаясь, мы — бессознательно — стараемся удержать равновесие, действуя при этом, по-видимому, всем нашим умом. Несчастье другого оскорбляет нас, оно изобличает нас в нашем бессилии, может быть, в нашей трусости. Или несчастье другого умаляет нашу честь в глазах других или даже нас самих. Или в несчастьях и страданиях другого мы видим указание опасности для себя; и как памятник человеческой непрочности и слабости, они вообще болезненно действуют на нас. Мы стараемся удалить от себя ослабление, стараемся избавиться от болезненного состояния, заглушая их поступком сострадания, — в нем мы ищем и защиту себе и месть за себя. В глубине души мы думаем при этом так же сильно и о себе: доказательством этого служит то, что всегда, когда можно, мы стараемся избавиться от встречи со страдающим, находящимся в нужде, в горе: но мы не сделаем этого, если мы чувствуем себя более сильными, способными помочь, если рассчитываем на успех, хотим сильнее ощутить свое счастье или надеемся разогнать этим свою скуку. Ошибочно называют состраданием то страдание, которое испытываем мы при виде чужого страдания и которое должно быть очень различно: оно всегда бывает таким, какого не испытывает страдающий пред нами: оно испытывается исключительно нами, как тем испытывается свое особое страдание. Исполняя дело сострадания, мы избавляемся только от того страдания, которое испытывается исключительно нами. Однако не один только этот мотив руководит нами: мы стараемся избавиться от страдания, и в то же время мы ищем удовольствия — того удовольствия, которое ощущается нами при виде противоположности нашего положения, при представлении о том, что мы можем помочь, если захотим, при мысли, что нас будут хвалить, будут признательны нам, если мы поможем, и если наша помощь будет успешна, она доставит радость и нам самим, как доставляет радость вообще всякий успех. Все это — и еще много других более тонких ощущений, вместе взятые, и составляют то, что именуется “состраданием” — как неуклюже охватывает язык одним словом такое многоименное существо! Мысль, что сострадание однородно со страданием, при виде которого оно возникает, противоречит опыту; и кто утверждает так, у того надобно признать большой недостаток опытности в этой области морали. Я сомневаюсь в том, что говорит Шопенгауэр о сострадании: что сострадание — именно то сострадание, которое он так мало наблюдал и так плохо описал — есть источник всех прошлых и будущих моральных деяний, — и это только потому, что он приписал ему какие-то способности. — Чем отличаются люди не испытывающие сострадания, от людей сострадательных? Прежде всего, — скажу в общих чертах, — они не подвержены возбуждающей фантазии страха, этой тонкой способности чутко опасаться; их тщеславие не так легко оскорбляется, если случится что-нибудь такое, чему они могли бы воспрепятствовать; их гордость не позволяет им вмешиваться без нужды в чужие дела: они держатся такого убеждения, что каждый должен помогать самому себе и действовать своими собственными силами. Кроме того, они бывают более привычными к перенесению боли; и при виде страдания другого в них не шевелится мысль о несправедливости, так как они сами страдали. Наконец, для них тяжело и болезненно состояние мягкосердечия, как человеку сострадательному тяжело состояние стоического равнодушия. Это тоже эгоисты, но эгоисты другого рода, чем сострадательные. Называть же их злыми, а сострадательных добрыми — не что иное, как мода, возникающая исчезающая с течением времени: было время — и притом время очень продолжительное, — когда была в ходу противоположная мода!

Почему надобно воздерживаться от сострадания.

— Сострадание, если оно, действительно, порождает страдание (пусть эта точка зрения будет у нас единственной), есть слабость, оно увеличивает страдание в мире: и хотя иногда вследствие сострадания облегчается или уничтожается страдание, нельзя, однако, этими случайными и в общем незначительными следствиями пользоваться для оправдания сострадания, которое все-таки остается приносящим вред. Само по себе, в нем так же мало хорошего, как и в какой-нибудь страсти; только там, где его требуют и хвалят, — а это бывает там, где не понимают заключающегося в нем вредного элемента, но открывают источник удовольствия — ему отдают с чистой совестью и не боятся его обнаружения. Но там, где понимают, что оно способно приносить вред, оно считается слабостью, или (как это было у греков) болезненным периодическим аффектом, у которого можно отнять его опасный характер, делая, от времени до времени, искусственные раздражения. Попробуйте, для опыта, поискать намеренно поводов к состраданию в практической жизни и перенесите все то горе, которое ведет оно за собой в своей свите, — вы непременно сделаетесь больны и меланхоличны. Но кто хочет быть врачом человечества в каком-бы то ни было смысле, тот должен заботливо остерегаться таких ощущений, — в решительную минуту они вселят в его душу колебание и задержат несущую помощь руку.

Сожаление.

— С моральной дрожью представляют себе дикари состояние человека, сделавшегося предметом сожаления: оказать кому-нибудь сострадание для них значило то же, что презирать; не хотели видеть, как страдает презираемое существо: в этом не было для них никакого удовольствия. Наоборот, видеть как страдает враг, которого считают таким-же непреклонно гордым, и который среди мучений не поступает своей гордостью, вообще видеть такое существо, которое не хочет допустить сострадание к себе, т. е. самого позорного и самого глубокого унижения: это — высшее наслаждение, это — наслаждение наслаждений; душа дикаря возвышается при этом, такой человек служит для него предметом удивления, убивая такого храбреца, попавшегося в его руки, он оказывает честь этому непреклонному человеку. Если бы с уст страдающего сорвалась жалоба, если бы лицо его потеряло выражение холодной насмешки над болью, он сделался бы предметом презрения, — и ему оставили бы жизнь, как собаке: тогда он не возбуждал бы гордости в видящем его, и вместо удивления он вызывал бы сострадание.

Счастье в сострадании.

— Если, подобно индусам, ставить целью всей интеллектуальной деятельности познание человеческого несчастья, и на протяжении многих поколений духа оставаться верным этому страшному намерению: то, в конце концов, в глазах таких людей наследственного пессимизма сострадание получает новую цену как сила, поддерживающая жизнь, помогающая выносить бытие. Сострадание становится средством против самоубийства, как ощущение, содержащее удовольствие и позволяющее вкушать маленькими дозами превосходство: оно отвлекает нас от самих себя, делает сердце полным, прогоняет страх, вызывает к словам, жалобам, действиям — это, в некотором роде, счастье, то счастье, которое возможно при таком страшном познании, гонящем индивидуума во мрак и захватывающем у него дыхание. Но счастье, каково бы оно ни было, дает воздух, свет и свободное движение.

Зачем удваивать “я”!

— Посмотреть на то, что случается с нами, теми глазами, какими мы смотрим обыкновенно на то, что случается с другими, — это очень успокаивает, это — полезное лекарство. Наоборот, смотреть на то, что случается с другими, так, как будто бы это случалось с нами (как требует философия сострадания), это погубило-бы нас, и притом в очень короткое время: сделайте опыт! Известно первое правило разума, помогающее человеку, желающему поступать разумно: именно то, что мы судим о значении и смысле факта объективнее, когда он случается с другими: например, о смерти, о потере денег, о клевете. Сострадание, как принцип поступков, выставляя требование: страдай о несчастьи другого так, как он сам страдает, производит то, что личная точка зрения, заставляющая все преувеличивать и придавать всему известные краски, должна сделаться и точкой зрения другого — страдающего: так что мы должны были бы страдать одновременно от нашего “я” и от “я” другого; и следовательно, вместо того, чтобы облегчить, по возможности, тяжести собственного безумия, мы добровольно стали бы обременять себя двойным безумием.

Нежность.

— Если мы кого-нибудь любим, или уважаем, или удивляемся кому-нибудь, и потом узнаем, что он страдает (узнаем всегда с большим удивлением, так как мы всегда думаем, что наше счастье, получаемое нами от него, идет от избытка его собственного счастья — то наше чувство любви, уважения, удивления изменяется существенно: оно делается нежным, т. е. пропасть между ним и нами как бы замыкается и появляется как бы приближение к равенству. Только теперь мы считаем возможным отплатить ему, так как прежде он стоял в нашем представлении выше нашей благодарности. Эта плата дает нам большую радость и возвышает нас в наших

собственных глазах. Мы стараемся угадать, что может смягчить его боль и даем ему это; если он хочет слов утешения, внимания, услуг, подарков, — мы даем ему это; но прежде всего, если он хочет, чтобы мы страдали его страданием, мы страдаем, но при всем этом мы испытываем удовольствие активной благодарности, т. е. доброй мести. Если он ничего не хочет и не принимает от нас, мы уходим от него опечаленным, почти больным, как будто отвергли нашу благодарность, — в этом пункте чести самый хороший человек очень щекотлив. Из всего этого выходит, что, даже в самом благоприятном случае, в страдании есть нечто унижающее; в сострадании — нечто возвышающее, дающее гордость: а это непроходимой пропастью разделяет оба ощущения.

Мнимое “выше”.

— Вы говорите, что мораль сострадания выше морали стоицизма? Докажите это! Но заметьте, что моральные понятия “выше” и “ниже” нельзя мерить моральным аршином, так как нет абсолютной морали. Итак, берите масштаб какой-нибудь другой!

Похвала и порицание.

— Если война кончается неудачно, то ищут “виновника” войны; если война кончается успехом, то хвалят ее зачинщика. Всегда ищут “вину” там, где есть неуспех, так как он приносит с собой уныние, против которого невольно применяется единственное средство: новое возбуждение чувства в л а с т и, — а оно находится в осуждении виновного. Этот виновный — не козел отпущения, он жертва слабых, упавших духом, унывших, которым на чем-нибудь хочется показать, что они имеют еще власть и силу. Для того, чтобы после поражения доставить себе чувство власти и силы, можно осудить, даже себя самого! — Наоборот, прославление виновника успеха часто бывает слепым следствием другой страсти, желающей иметь свою жертву — и на этот раз самому жертвенному животному жертва кажется сладкой и заманчивой, — именно если чувство власти в народе или в обществе переполнено большим чарующим успехом и наступило утомление победой, то начинают отказываться от своей гордости; подымается чувство преданности и ищут его объекта. — Порицают нас или хвалят, мы служим, при этом, обыкновенно поводом и очень часто, поводом произвольно выбранным, — дающим возможность нашему ближнему излить клокочущую в нем страсть порицания или похвалы: и в том и в другом случае мы оказываем ему благодеяние, которое не является заслугой с нашей стороны и не вызывает благодарности с его стороны.

Красивее, но менее ценно.

— Художественная мораль: это мораль быстро вырывающихся аффектов, крутых переходов, патетических, сильных, страшных, торжественных движений и звуков. Это полудикая ступень морали: не позволяйте же ей соблазнить себя эстетическими чарами и не ставьте ее высоко.

Сочувствие.

— Для того, чтобы понять другого, т. е. для того, чтобы воспроизвести в себе его чувство, мы часто стараемся отыскать причину того или другого возникшего в нем чувства. Например, мы спрашиваем: чем он опечален? — Для того, чтобы представить себе ту же причину, и воспроизвести в себе то же чувство печали. Но чаще мы опускаем это, и воспроизводим в себе чувство по тем действиям, которые оказывает оно на другого, воспроизводя выражение его глаз, голоса, походки. Тогда в нас возникает подобное же чувство вследствие ассоциации движений и ощущений. В этой способности понимать чувства другого мы ушли очень далеко, и почти произвольно, в присутствии человека, мы упражняемся в этой способности. Вспомните только в игру черт женского лица, как оно все дрожит и изменяется от непереставаемого подражания и отражения того, что совершается, чувствуется и ощущается вокруг нее. Но яснее всего показывает музыка, какие великие мы мастера в быстром и тонком разгадывании чувств и в сочувствии: музыка есть воспроизведение чувств, и однако, несмотря на эту отдаленность и неопределенность, она заставляет нас участвовать в них, так что мы становимся печальными без малейшего повода к печали, как настоящие сумасшедшие, только потому, что слышим звуки и ритмы, которые как-нибудь напоминают голоса и движения печальющихся. Рассказывают о датском короле, что музыка какого-то певца так настроила его на воинственный лад, что он вскочил и тут же убил пятерых придворных: не было войны, не было врага, но сила, приводящая от чувства к причине, оказалась так сильна, что одолела и очевидность, и рассудок. Но именно почти всегда действие музыки таково, и чтобы понять это, нет надобности в таких парадоксальных случаях: состояние чувства, которое заставляет нас испытывать музыка, стоит почти всегда в противоречии с очевидностью нашего действительного положения, и с рассудком, который сознает это действительное положение и его причины.

Если спросить, почему воспроизведение в себе чувств другого для нас так легко, то в ответе не может быть никаких затруднений: человек, будучи самым трусливым из всех тварей, благодаря своей тонкой и хрупкой природе, имел учительницей того сочувствия, того быстрого понимания чувства другого (даже животного) — трусливость. В течение многих тысячелетий он видел в каждом незнакомом ему одушевленном предмете, опасность: при одном только взгляде на него он тотчас же воспроизводил в себе выражение черт его лица и его манеры, и по этим чертам и манерам он делал заключение о его злом или добром намерении. Это толкование

намерений по движениям и линиям человек применил даже к неодушевленной природе, воображая ее одушевленной: я уверен, что те ощущения, которые мы испытываем при виде неба, леса, скалы, реки, моря, звезд, весны и т. п., имеют такое именно происхождение. Радость и приятное удивление, даже чувство смешного должно быть признаны позднейшими детьми сочувствия и младшими братьями страха. — Способность быстро понижать мать — которая, таким образом, покоится на способности быстро становиться на место другого — уменьшается у гордых самостоятельных людей и народов, потому что они испытывают меньше страха; наоборот, все трусливое и забытое быстро все понимают и могут стать на место другого: здесь также надобно искать настоящую родину подражательных искусств и высшей интеллигенции. — Если после той теории сочувствия, которую я здесь изложил, вспомнить об излюбленной теории мистического процесса, в силу которого сострадание делает из двух существ одно и этим путем облегчает одному непосредственное понимание другого; если вспомнить, что такая светлая голова, как Шопенгауэр, находил удовольствие в такой сумасбродной, ничего не стоящей болтовне, и заразил этим другие светлые и полусветлые головы: я не могу достаточно надивиться им и достаточно сожалеть их. Как велика, должно быть, у нас страсть к непонятной бессмыслице! Как еще близко стоит человек к сумасшедшему, если он прислушивается к своим таинственным интеллектуальным желаниям! (За что, собственно, чувствовал себя Шопенгауэр так благодарным, так глубоко обязанным Канту? Загадка разъясняется очень просто. Кто-то сказал, что можно у категорического императива Канта отнять *qualitas occulta*, и он может сделаться понятным. На это Шопенгауэр разразился такой тирадой: “Понять категорический императив! Бессмыслица! Египетская тьма! Спаси Бог, чтобы он сделался понятным!..” Подумайте теперь, может ли иметь добрую волю к познанию моральных вещей тот, кто заведомо чувствует себя одушевленным верой в непонятность этих вещей, — тот, кто благоговейно верует в магию, духов, наития и метафизическое безобразие жаб!

Горе, если овладеет эта страсть!

— Если бы влечение привязанности и заботы о других (“симпатические аффекты”) сделались вдвое сильнее, чем они есть в действительности, то на земле нельзя было бы жить. Подумайте только, сколько глупостей ежедневно, ежечасно делает каждый из любви в себе и заботы о самом себе, и как невыносимо бывает тогда смотреть на него: а что было бы, если бы мы были для другого объектом этих глупостей и навязчивостей, которыми до сих пор он награждал только самого себя! Пришлось бы всякий раз, как подходил к нам “ближний”, бежать от него, закрывши глаза! И “симпатические аффекты” звучали бы тогда для нас так же зло, как звучит теперь “эгоизм”.

Затыкать уши перед плачем.

— Если мы позволяем плачу и страданию других смертных помрачать и покрывать облаками наше собственное небо, кто же должен нести последствия этого помрачения? Другие смертные в добавление ко всем своим собственным тягостям! Мы не можем ни помочь, ни утешить их, если мы сами служим эхом их плача или даже только прислушиваемся к нему, — разве только мы научимся искусству олимпийцев и будем наслаждаться несчастьем человека вместо того, чтобы быть несчастным от этого. Но это слишком много для нас, — хотя мы сделали уже шаг к этому каннибальству богов.

“Неэгоистично”.

— Тот пуст, и хочет быть полным; этот переполнен, и хочет быть пустым. — Оба стремятся найти индивидуума, который служил бы им для этого. И этот процесс, в высшей степени понятный, называют в обоих случаях одним словом любовь. — Как? Ведь любовь есть нечто неэгоистичное!

Прочь ближнего.

— Как? Сущность истинной морали должна заключаться в том, чтобы мы постоянно имели в виду ближайшие и непосредственные следствия наших действий для другого и сообразовались с этим в своих поступках? Это — только узкая, мелко-гражданская мораль. Мне кажется выше и свободнее — смотреть дальше этих ближайших последствий для другого и стремиться к более отдаленным целям, хотя бы, при случае, даже и через страдания другого, — например, стремиться к познанию, не обращая внимания на то, что наш свободный дух тотчас принесет другим сомнение, печаль и еще что-нибудь худшее. Нее имеем ли мы, по крайней мере, права обращаться с другими так, как обращаемся с самими собой? И если мы не думаем так узко и мелочно о непосредственных следствиях и страданиях для нас самих, зачем должны мы думать о другом. Если бы нам пришлось в голову пожертвовать собой для самих себя, что помешало бы нам принести вместе с собой в жертву и ближнего, как это делают государства, жертвуя одним гражданином для других, для “общих интересов”. Но и мы имеем общие и, может быть, более общие интересы, почему же мы не имеем права, пожертвовать несколькими индивидуумами нашего поколения в пользу поколений грядущих? — Наконец, мы сообщаем ближнему наш образ мыслей и действий, в котором он может чувствовать себя жертвой, мы убеждаем его взять на себя задачу, для которой мы будем пользоваться им. Разве мы не сострадательны? Но если мы одерживаем победу над своим состраданием к самим себе, не более ли высокий и свободный этот образ действий и мыслей,



где чувствуют себя безопасным, открыв, что приносит вред и пользу ближнему? Напротив, жертвуя собой и ближним, мы увеличиваем и поднимаем выше общее чувство человеческой силы, даже если мы не достигаем чего-нибудь более реального. Но и это уже было бы положительным увеличением счастья. — Наконец, если это даже... Нет надобности в словах. Вы с одного взгляда поняли меня.

#### Причина альтруизма.

— О любви люди говорят так восторженно и благоговейно потому, что они мало ее имеют и никогда не могут быть сыты этой пищей: это для них “божественная пища”. Пускай поэт в картине утопии опишет всеобщую человеческую любовь существующей: он опишет полное страдания и смешное состояние, какого земля никогда не видала, — каждая человек окружен и согрет любовью не одного любящего человека, как это бывает теперь, а любовью целых тысяч, или даже любовью каждого в силу непреодолимого влечения, которое тогда будут бранить и проклинать так же, как бранили и бранят теперь эгоизм; и поэты того времени, если предоставить им свободу, будут мечтать о благословенном прошлом, свободном от любви, о божественном эгоизме, о возможном еще некогда на земле одиночестве, нелюбви, ненависти, презрении, и вообще всей той “низости” нашего “милого животного мира”, в котором мы живем.

#### Взгляд в отдаленное.

— Если моральными действиями, по одному определению, можно называть лишь такие, которые совершаются ради другого и только ради него, то нет моральных действий! — Если моральными действиями, по другому определению, можно назвать лишь такие, которые совершаются при свободе воли, то нет моральных действий! — Что же такое то, что называют таким именем, что, во всяком случае, существует и требует объяснения? Это следствия некоторых интеллектуальных ошибок. — Предположим, что от таких ошибок освободились, что сделалось бы с “моральными действиями”? — Вследствие этих ошибок мы приписывали до сих пор некоторым действиям высшее значение, чем они имеют на самом деле: мы отделили их от “эгоистических” и от “несвободных” действий. Если теперь мы опять соединим их с этими последними, как и должны мы сделать, то мы, конечно, уменьшим их цену, и притом поставим ее даже ниже средней меры, так как “эгоистические” и “несвободные” действия оценивались до сих пор слишком низко по причине той воображаемой глубокой разницы между ними. Будут-ли они с этих пор совершаться реже, потому что оцениваются ниже? Несомненно! По крайней мере в то время, пока будет действовать реакция! Но наша переоценка будет иметь своим последствием то, что мы дадим людям возможность совершать со спокойной совестью действия, о которых кричат теперь как об эгоистических; восстановим истинную ценность этих действий и снимем с них клеймо “зла и вреда”. А так как эти действия до сих пор совершались наиболее часто и будут так же совершаться и впредь, то мы снимаем своей переоценкой наружный вид “зла и вреда” со всей картины наших действий и жизни! Это последствие очень важное! Если человек перестанет считать человека дурным, он перестанет быть таким.

### КНИГА ТРЕТЬЯ

#### КУЛЬТУРА И КУЛЬТУРЫ

#### Маленькие исключения необходимы!

— В вопросах нравственности поступить иногда против своих лучших убеждений; делать уступки на практике и удерживать за собой духовную свободу; делать так, как делают все, и этим поступком оказать другим любезность, вознаградив себя таким сознанием за отступление от своих убеждений, — многие свободомыслящие люди не только не стесняются действия таким образом, но даже считают его “честным”, “гуманным” видят здесь “терпимость”, “отсутствие педантизма”, и вообще называют такой свой образ действий многими красивыми словами, стараясь усыпить ими свою совесть. “Это не важно, если кто-нибудь из нас делает так, потому что все всегда так делают и делали”, — так звучит грубый предрассудок! Грубая ошибка!

#### Здесь можно искать новых идеалов.

— Нельзя позволить принимать решение относительно своей жизни в состоянии влюбленности и под влиянием сильной прихоти определять характер своего общества раз и навсегда: надобно позволить влюбленным отказаться от своих клятв и дать им возможность свободы: и именно потому, что на брак надобно смотреть несравненно серьезнее! Не такого ли рода большинство теперешних браков, что не желают иметь третье лицо, могущее быть свидетелем. А между тем, в этом третьем лице — в ребенке — почти никогда не бывает недостатка, и ему приходится играть здесь роль более чем свидетеля — он козел отпущения.

#### Клятва.

— “Если я лгу, то я нечестный человек, и пусть каждый скажет это мне в глаза”. Такую формулу я рекомендую вместо присяги: она сильнее. Даже благочестивый человек не имеет ничего возразить на это: тогда было бы меньше случаев нарушения заповедей: “не приемли имени Господа Бога твоего всуе”.

Недовольный.

— Это один из тех древних хребцов, который сердится на цивилизацию, думая, что она имеет целью сделать доступным всем, в том числе и трусам, все хорошие вещи — честь, богатство, красивых женщин...

Утешение находящихся в опасности.

— В жизни, подверженной большим опасностям и превратностям, греки искали опоры и последнего *refugium* в размышлении и познании. Мы, живя в несравненно более безопасном состоянии, перенесли опасность на размышление и познание и отдыхаем и успокаиваемся от них в жизни.

Скепсис древних и новых народов.

— Решимость встречаться теперь реже, чем в древние и средние века, — очевидно потому, что новое время не имеет более веры в предзнаменования, оракулы, звезды, предсказания, т. е. мы сделали себя неспособны к тому, чтобы верить в определенную нами будущность, как верили древние, которые, в противоположность нам, были гораздо меньшими скептиками относительно того, что предстоит, чем относительно того, что есть.

Культе естественных выражений чувства.

— На что указывает то, что наша культура не только терпит выражения печали, слезу, жалобы, упреки, негодование и смирение и считает их хорошими и более благородными неизбежностями, между тем как дух античной философии смотрел на все это с презрением и не признавал за ними необходимости существования? Вспомните только, как Платон — один из самых человеческих философов — говорит о Филокете трагической сцены. Может быть, нашей современной культуре недостает “философии”. Может быть, отвергнув тех древних философов, мы все вместе и каждый порознь принадлежим к “черни”?

Климат шута.

— Шуты не водятся теперь около королей: короли любят теперь военных. Но вокруг банкиров и теперь еще растут эти цветы.

Воскресители мертвых.

— Суетные люди оценивают прошлое выше с той минуты, с которой они могут воспроизводить в себе ощущения его; они хотели бы даже, если возможно, снова воскресить его. Но так как суетных постоянно бывает бесчисленное множество, то опасность исторических занятий, как скоро им посвящается все время, нельзя считать незначительной. Слишком много силы тратится на всевозможные воскресения мертвецов. С этой точки зрения, может быть, легко понять все движения романтики.

Красота соответственно веку.

— Если бы наши скульпторы, художники, музыканты захотели воспроизвести дух времени, они должны были бы представить красоту одутлой, громадной и нервной: так как греки, под влиянием своей морали меры, создали красоту Аполлона Бельведерского. Мы должны были бы назвать его собственно безобразным! — Но проклятые “классицисты” лишили нас всякой честности!

Ирония настоящего.

— Сейчас у европейцев существует прием — обо всех великих интересах говорить с иронией, — потому что, вечно служа им, они не имеют времени принимать их серьезно.

Против Руссо.

— Если правда, что наша цивилизация имеет в себе что-то достойное сожаления, то перед вами стоит альтернатива или делать дальнейшее заключение вместе с Руссо: “эта жалкая цивилизация виновна в нашей дурной нравственности”; или делать обратное заключение против Руссо: “наша нравственность виновна в этой жалкой цивилизации. Наши слабые, неустойчивые общественные понятия о добре и зле и чудовищное господство их над телом и душой сделали, наконец, все тела и души слабыми и сломили самостоятельность, независимость, беспристрастность людей, эти столпы сильной цивилизации: где встречаются еще теперь с дурною нравственностью, там можно видеть последние обломки этих столпов”. Так стоит парадокс пред парадоксом! Правды не может быть на той и другой стороне: а есть ли она вообще на одной из них? Пусть докажут.

Может быть, слишком рано.

— Теперь кажется так, что под всякими ложными вводящими в заблуждение именами и, главным образом, в большой тайне делаются со стороны лиц, не считающих себя связанными существующими обычаями и законами, первые попытки организовать и создать себе право: между тем как до сих пор они считались преступниками, свободомыслящими, безнравственными, вредными, жили под опалой, с клеймом нечистой совести, развращенные и развращающие. Эта борьба указывает на то, что нет морали, делающей моральными всех, а что каждая

исключительно саму себя утверждающая нравственность тратит слишком много хороших сил и стоит человечеству дорого. Не следует приносить в жертву отступников от обычаев, людей часто изобретательных и плодотворных; не следует считать безусловно вредным хотя бы малейшее отступление от морали, — надобно делать новые попытки улучшения жизни, надобно изгнать из мира чудовищное бремя злой совести, — вот общие цели, которые признаются всеми честными, ищущими правды людьми, и к которым они стремятся.

Какая мораль не наводит на скуку.

— Главные нравственные заповеди, которые народ постоянно учит, и которые все снова и снова проповедуются ему, касаются главных ошибок народа, и потому не наскучивают ему. Греки, которым очень часто недоставало уверенности, хладнокровия, здравого смысла и вообще рассудочности, внимательно слушали о четырех сократовских добродетелях, — потому что они нуждались в них, и к ним-то именно не имели способностей!

На распутье.

— Фу! Вы хотите войти в систему, где надобно быть или колесом, или попасть под колеса! Где само собою понятно, что каждый есть то, чем предназначен быть свыше! Где стремление быть частью целой машины принадлежит к естественным обязанностям! Где никто не чувствует себя оскорбленным, если ему кивком головы указывают на человека: “Он может быть вам полезным”! Где не стыдятся ездить с визитом, чтобы просить ходатайства! Где не догадываются, что, вмешиваясь в жизнь с такими обычаями, делаешь из себя, раз и навсегда, ничтожную глиняную посуду, которой пользуются другие и которую они могут разбить, не делаясь ответственным за это! Вы как будто говорите: “В таких людях, как я, никогда не будет недостатка; пользуйтесь мной! Без колебаний!”

Безусловные подчинения.

— Если подумаешь о немецких философах, которых больше всего читают; о немецких музыкантах, которых больше всего слушают; о немецких государственных людях, самых уважаемых, то придется согласиться, что немцам, этому народу безусловных чувств, теперь становится поистине горько — именно от их собственных великих людей. Там можно трижды видеть великолепное зрелище: каждый раз реку в ее собственном, ею же самой прорытом русле, которая движется так величественно, что часто может показаться, как будто она хочет подняться в гору. И, однако, как бы ни было велико уважение к этому величественному потоку, — кто не высказался бы охотно против Шопенгауэра! Кто может быть теперь одного мнения с Р.Вагнером? И, наконец, многие ли от всего сердца соглашались с Бисмарком, если только он сам согласен с самим собой, или только показывал вид, что это так? Действительно: человек без глубоких основных положений, но с глубокими страстями, подвижный дух на службе сильных глубоких страстей, потому-то и без основных глубоких положений: в государственном человеке это не должно казаться странным; наоборот — это должно быть вполне правильным и естественным. Но, к сожалению, до сих пор это так глубоко противоречило немецкому характеру! И на что годны вообще эти три образца, которые не хотят жить в мире даже между собой! Шопенгауэр противник музыки Вагнера; Вагнер противник политики Бисмарка; Бисмарк противник всякого вагнерства и шопенгауэрства! Что остается делать! Куда обратиться со своей жадной “стадной преданности”! Может быть, можно выбрать себе из музыки музыканта несколько сот тактов хорошей музыки, которые могут тронуть чье-нибудь сердце, и к которым лежит чье-нибудь сердце, потому что они имеют сердце; может быть, можно будет уйти куда-нибудь и скрыться с этой поклажей, а все остальное — забыть? Может быть, то же самое можно проделать с произведениями философа и государственного человека — выбрать, отдаться этому всем сердцем, и все остальное — забыть? Да, если бы только забвение не было так трудно! Был один очень гордый человек, который хотел слышать о себе все: и хорошее и дурное, но когда ему понадобилось забвение, он не мог дать его себе самому, но должен был трижды заклать духов: они явились, выслушали его требования и, наконец, сказали ему: “только это одно не в нашей власти”! Не должны ли немцы воспользоваться опытом Манфреда? Зачем же еще заклинать духов! Это бесполезно: не забывают, когда хотят забыть! И как велик был бы этот “остаток” от этих трех гигантов нашего времени, который пришлось бы забывать, чтобы можно было сделаться их поклонниками! Экономнее, однако, воспользоваться удобным случаем и поискать чего-нибудь нового: именно сделаться более честным к самим себе и из народа легковверного поклонения и слепой озлобленной вражды превратиться в народ осторожной критики и благосклонной борьбы. Но прежде всего надо понять, что безусловное преклонение пред кем-нибудь есть нечто смешное, что учиться для немца не позорно, и что есть одна глубокого смысла, стоящая запоминания пословица: *ce qui importe, ce ne sont point les personnes mais les choses* (важны не лица, а дела). Этот афоризм, как и тот, кому он принадлежит, велик, силен, прост и немногословен — вполне как Кearn, солдат и республиканец. Но, может быть, немцам нельзя так отзываться о французе, и вдобавок еще о республиканце? Может быть, и нельзя; может быть, даже немцы не желают вспоминать о французах! Но великий Нибуr говорил своим современникам, что никто не производил на него такого впечатления истинного величия, чем Карно.

Образец.

— Что нравится мне в Фукидиде? За что я чту его выше Платона? Он очень глубоко и простодушно радуется каждому типичному человеку и каждому типичному случаю; он находит, что в каждом типе есть доля разумного: и он старается открыть его. У него больше практической правдивости, чем у Платона; она не унижает человека, не взваливает на него бремя недостатков и пороков, если он не нравится ему или причинил ему какое-нибудь зло. Наоборот, видя только типы, он находит во всех лицах нечто великое: что было бы делать потомству, которому он посвящает свой труд, с тем, что типично! таким образом, в нем, человеке-мыслителе, достигла последнего великолепного расцвета та культура непосредственного познания мира, которая в Софокле имела своего поэта, в Перикле — своего государственного человека, в Гиппократе — своего врача, в Демокрите — своего естествоиспытателя; та культура, которая заслуживает быть окрещенной именем своих учителей, софистов, и которая к сожалению, с момента этого крещения становится для нас бедной и непонятной: мы теперь подозреваем, что эта культура была, вероятно, очень безнравственной, если против нее боролся Платон и все сократовские школы! Правда здесь так запутана и загромождена, что отпадает всякая охота откапывать ее: так иди же старая ошибка (*error veritate simplicior*) своей старой дорогой!

Героическое нам очень чуждо.

— Восточное или современное, азиатское или европейское: сравнительно с греческим всему этому свойственны массивность и чувственность в большом размере, как языку возвышенного; между тем в Пестуме, Помпеях, Афинах и пред всей вообще греческой архитектурой останавливаешься с удивлением, — с помощью каких малых размеров греки умеют и любят выражать все возвышенное. Точно также — какими простыми рисовались в представлении греков люди! Как превосходим мы их в познании человека! И какой зато лабиринт представляют теперь наши души и наши представления о душах сравнительно с ними! Если бы мы захотели и отважились создать архитектуру по образцу наших представлений о душе, — мы создали бы лабиринт! Об этом позволяет догадываться наша музыка, действительно представляющая нас! В музыке человек выступает открыто, воображая, что из-за музыки ни кто не увидит его самого.

Другие перспективы чувства.

— Что за бессмыслицу говорим мы о греках! Что понимаем мы об их искусстве, душой которого служит страсть к мужской обнаженной красоте! Только из-за этого почувствовали они и женскую красоту. Таким образом, они имели для нее совершенно другую перспективу, чем мы. Так же обстояло дело и с их любовью к женщине: они уважали иначе, они презирали иначе.

Питание современного человека.

— Он умеет переварить многое, даже — почти все: это его гордость! Но он принадлежал бы к высшему порядку именно в том случае, если бы он не имел *homo rumpagus* (всеядный человек) далеко не совершенный вид. Мы живем в промежутке между прошлым, имевшим более извращенный и более своенравный вкус, и будущим, которое будет иметь вкус, может быть, более отборный, — мы живем в самой середине.

Трагедия и музыка.

— Людей с воинственным настроением духа, как, например, греков времен Эсхила, трудно тронуть, и если иногда сострадание одерживает верх над жестокостью, то оно охватывает их как вдохновение, подобно “демонической силе”, — тогда они чувствуют себя лишенными свободы, связанными, охваченными религиозным страхом. Пока они находятся в этом состоянии, они вкушают наслаждение переживанием чужой жизни, того дивного состояния, смешанного с горчайшей полынью страдания; это самый подходящий напиток для воинов, нечто обыкновенное, опасное, горько-сладкое, что не всякому дается в удел. Трагедия и обращается к этим душам, как испытывающим сострадание, к жестоким, воинственным душам, которые трудно одолеть как страхом, так и состраданием, но которым полезно от времени до времени быть смягченным им: да и на что трагедия тем, которые стоят вечно готовыми для “симпатических аффектов”, как паруса для ветров! Когда афиняне сделались мягче и чувствительнее, во времена Платона, им далеко еще до отзывчивости жителей наших больших и малых городов, но философы уже жаловались на вред трагедии. Век полный опасности, какой теперь начинается, и в котором храбрость и мужественность получают большее значение, может быть, мало-помалу снова сделает души жесткими, так что им понадобятся трагические поэты: но теперь они несколько излишни — если употребить мягкое выражение. — Может быть, и для музыки придет некогда лучшее время — тогда, когда художникам придется обращаться с нею к людям с вполне развитой личностью, твердым, страстным, — а к чему музыка теперешним непостоянным, непоседливым, недоразвившимся, полуличным, любопытным, похотливым душонкам уходящего века?

Панегиристы труда.

— Когда я слушаю или читаю восхваления “труда”, неутомимые речи о “счастье труда”, я вижу во всех них ту же самую заднюю мысль, как и в похвалах общепользных безличных деяний: страх перед всякой индивидуальностью. В сущности же чувствуют теперь, что “труд” — разумеется, тот суровый труд с утра до

вечера — есть лучшее средство удерживать каждого в известной ограде и мешать развитию независимости. Он требует необыкновенно большого напряжения сил и отвлекает человека от размышлений о себе, от мечтаний, забот, любви, ненависти, он ставит ему перед глазами постоянно маленькую цель и дает легкое и постоянное удовлетворение. Таким образом, общество, где будет развит постоянный упорный труд, будет жить в большой безопасности, а безопасность — высший рай для нас. А теперь! О, ужас! Именно “работник” сделался опасным! Везде кишат “опасные индивидуумы”! а сзади них опасность опасностей — individuum!

#### Моральная мода общества.

— Позади основного положения теперешней моральной моды: “моральные поступки суть поступки вытекающие из симпатии к другим”, - я вижу действие социальной склонности к трусости, которая таким образом маскируется интеллектуально: эта склонность считает высшей, важнейшей и ближайшей задачей — избавить жизнь от всякой опасности и требует, чтобы каждый всеми силами содействовал этому: потому все те поступки, которые имеют целью всеобщую безопасность и чувство безопасности, получают предикат “хороших”. — Как мало, однако, радости должны испытывать теперь люди, если высший нравственный закон предписывается им такой тиранией трусости, если они беспрекословно позволяют ей приказывать себе смотреть мимо себя и зорко следить только за чужими бедами и за чужими страданиями! При такой страшной цели — стесать у жизни все острое и выдающееся — не становимся ли мы на дорогу самую пригодную для того, чтобы превратить человечество в песок? Песок! мелкий, мягкий, бесполезный песок! Таков ли ваш идеал, вы, провозвестники альтруизма! А между тем остается без ответа вопрос — полезнее ли бывает для другого тогда, когда ему постоянно непосредственно содействуют и помогают (однако эта помощь бывает всегда поверхностна, где отношения между этими лицами не превращаются в тиранию) или тогда, когда образуют из себя самого нечто такое, на что другой смотрит с удовольствием, как бы прекрасный, спокойный, в самом себе замкнутый сад, имеющий высокие стены для защиты от уличной пыли, но в то же время и гостеприимные двери.

#### Основная идея культуры тонкого века.

— Теперь часто можно видеть такое культурное общество, душой которого служит торговля, как у древних греков душой общества было личное состязание, а у римлян — война, победа и право. Торговец умеет все оценить и притом оценить по нуждам потребителя, а не по своим личным нуждам, “кто и сколько людей будут потреблять это?”, - во т его вопрос вопросов. Этот тип оценки он применяет инстинктивно и непрерывно ко всему — к произведениям искусств, наук, мыслителей, ученых, художников, государственных людей, народов и партий, даже к целому веку: обо всем, что создается, он спрашивает; будет ли на это спрос, можно ли явиться на рынок с таким предложением, — спрашивает для того, чтобы установить цену на вещь. Этот прием становится характером целой культуры, приводится самым последовательным и аккуратным образом, направляет волю, силы: это — то, чем будите гордиться вы, люди будущего века, если правду говорят пророки торгового класса. Но и мало верю в эти пророчества.

#### Критика отцов.

— К чему касаться правды о недавнем прошлом? Потому что теперь живет новое поколение, которое чувствует себя в антагонизме с этим прошлым и в этой критике наслаждается первыми плодами чувства власти. Прежде было наоборот, новое поколение хотело полагать в основу своей жизни старину, и начинало себя чувствовать только тогда, когда оно не только принимало взгляды отцов, но и принимало их возможно строже. Критика отцов считалась пороком: теперешние молодые идеалисты начинают именно с нее.

#### Учиться одиночеству.

— О вы, бедняки в великих городах мировой политики, вы, молодые, даровитые, терзаемые честолюбием люди, считающие своей обязанностью при всяком случае (а случай не заставляет себя ждать) сказать свое слово! Вы, которые, производя таким образом пыль и шум, считаете себя колесницей истории! Вы, которые постоянно приглядываетесь к моменту, постоянно ищете момента, когда можно было бы приткнуть свое слово, вы теряете всякую реальную продуктивность! Пусть такие люди жаждут великих дел: они не способны произвести что-нибудь на свет; события дня гонят их перед собой, как мякину, а они воображают, что они гонят вперед события дня, — бедняки!

#### Предмет ежедневного потребления.

— У этих молодых людей нет недостатка ни в характере, ни в даровании, ни в прилежании, но им никогда не давалось возможности дать самим себе направление: и они с детских лет привыкли ловить направление. Когда же они стали довольно зрелыми для того, чтобы “быть высланными в пустыню”, с ними поступили иначе, ими пользовались, их воровали у них самих, воспитывали их для того, чтобы сделать из них предмет постоянного потребления для других, и внушили им соответственное учение об обязанностях, — и теперь они не могут отделаться от этого, да и не хотят перемены.

## ГОСУДАРСТВО, ПОЛИТИКА, НАРОДЫ

### Государство.

— Все экономические и социальные отношения не могут и не должны стоять того, чтобы ими занимались только самые даровитые умы: такое злоупотребление умом хуже отсутствия ума. Есть области труда для незначительных голов, и другие, кроме незначительных голов, не должны работать в этой мастерской: пусть лучше машина разобьется вдребезги! Но так, как обстоит дело теперь, когда все не только думают, что надобно не только интересоваться экономическими и социальными вопросами, но и ежеминутно участвовать в них и жертвовать для них своим трудом, — получается великое и смешное безумие. Создать общество, где не было бы воров, поджогов, которое было бы бесконечно удобно для торговли, — и создать охрану такого общества — такая цель не из столь высоких, чтобы для достижения ее пускать в дело высшие средства и орудия: их следует приберечь для более высоких и более редких целей! Хотя в наш век и говорят об экономии, но наиболее драгоценное — дух — расточают самым непроизводительным образом.

### Войны.

— Великие войны нашего времени суть продукт исторического изучения.

### Прямолинейная последовательность.

— Говорят с большой похвалой: “Это — характер!” Да! Если он обнаруживает прямолинейную последовательность, если последовательность эта сквозит даже в его тупых глазах! Но если человек обладает тонким, глубоким умом, если он последователен в высоком, разумном значении этого слова, зрители отрицают существование в нем характера. Поэтому многие хитрые политики играют свою комедию под прикрытием последовательности.

### Старое и молодое.

— “В парламенте совершаются вещи безнравственные: там говорят против правительства”, — такова была одиннадцатая заповедь старой Германии. Теперь над этим смеются как над устаревшей модой: но прежде это был вопрос морали! Может быть, некогда будут смеяться и над тем, что считается теперь моральным у молодых поколений, получивших парламентское воспитание: именно над модой ставить политику партий выше своего собственного ума, и при каждом ответе на вопросы общественного блага сообразовываться с ветром, дующим в паруса партии. “Имей такой взгляд на вещи, какого требует партия”, — так гласит их канон. На службе такой морали приносятся теперь всевозможные жертвы: здесь уничтожается личность, здесь есть свои мученики.

### Государство, как произведение архитекторов.

— В странах мировых людей всегда найдется некоторое количество неустойчивых, разнузданных лиц, которые собираются в социалистические партии. Если бы когда-нибудь дошло дело до того, что они стали бы давать законы, то можно быть вполне уверенным, что они наложили бы на себя железные цепи и установили бы страшную дисциплину — ведь они знают себя! И они выдержали бы эти законы в сознании, что они сами дали их. Чувство власти, именно этой власти, слишком ново и слишком возбуждающе для них, чтобы они не вытерпели всего ради него.

### Нищие.

— Нищих надобно удалять: неприятно давать им и неприятно не давать им.

### Люди дела.

— Ваше занятие — это ваш величайший предрассудок, оно привязывает вас к вашему месту, к вашему обществу, к вашим склонностям. Прилежные в занятии, ленивые духом, довольные своею бедностью, повесив над этим довольством передник обязанности, — так живете вы, к тому же готовите и своих детей.

### О великой политике.

— Хотя польза и тщеславие отдельных лиц и целых народов и оказывают свое влияние в великой политике, но сильнейшей водой, гонящей их вперед, является все-таки потребность чувства власти, которая пробивается наружу не только в душах государей, но временами бьет ключом и в душах людей, принадлежащих к низшему слою народа. Постоянно повторяются минуты, когда масса бывает готова жертвовать своим имуществом, своею жизнью, своею совестью, своею добродетелью, для того чтобы получить высшее наслаждение власти и тиранически произвольно распоряжаться другими нациями в качестве победоносной нации. Тогда обильно бьют наружу источники самых разнообразных настроений — щедрости, самопожертвования, надежды, доверия, отваги, воображения. Потому-то великие завоеватели пользовались всегда для своих целей патетическим языком: они имели около себя всегда такие массы, которые находились постоянно только в приподнятом состоянии и хотели слушать только возвышенную речь. Поразительная бессмыслица моральных суждений! Если

человек находится в упоении чувства власти, он чувствует себя хорошо и называет себя хорошим, а другие, на которых он должен распространить свою власть, чувствуют и называют его дурным. В басне о человеческих возрастах Гезиод нарисовал один и тот же век, именно век гомеровских героев, два раза один вслед за другим, и сделал два века из одного: с точки зрения тех, которые стояли под железным страшным давлением этих искавших приключений богатырей, или с точки зрения тех, которые слышали об этом от своих предков, кому он представлялся дурным; а потомки этих рыцарских племен почитали в нем хороший, старый, благословенный век. Поэт не мог сделать ничего другого, кроме того, что он сделал; ведь он имел около себя слушателей того и другого народа!

Прежнее немецкое образование.

— Когда немцами стали интересоваться другие народы Европы, то это произошло единственно благодаря образованию, которого теперь у них нет уже, и которое они отбросили прочь со слепым ожесточением, как будто оно было болезнью, но ничем лучшим они не могли его заменить, как политическим и национальным ослеплением. Правда, они добились этим, что сделались еще интереснее для других народов, чем прежде, когда вызывали к себе интерес своим образованием: и могут теперь быть довольны! Но нельзя отрицать, что то немецкое образование одурачило европейцев, и что оно не заслуживало такого интереса, такого подражания и такого усердного поклонения. Оглянитесь теперь еще раз на Шиллера, Вильгельма фон Гумбольдта, Гегеля, Шеллинга, почитайте их письма и войдите в великий круг их поклонников: общая черта всех их, которая бросится вам в глаза, и невыносима, и жалка! Во-первых, желание показаться морально настроенными — и притом добиться этого какой бы то ни было ценой; затем погоня за блестящими, лишенными плоти отвлеченностями. Это нежный, благонаправленный, убранный серебром идеализм, который хочет притвориться благодарным в манерах и в голосе, — вещь настолько смелая, насколько и простодушная, одушевляемая исходящим из глубины сердца отвращением к “холодной” и “сухой” действительности, к анатомии, к полным страстям, ко всякого рода философской воздержанности и скептицизму, но зато и к познанию природы. Свидетелем этого направления немецкого образования был Гете, но он относился к нему своим, особенным образом: стоя рядом с ним, тихо сопротивляясь, молча, все крепче и крепче становясь на своей, лучшей дороге. Позднее его застал еще и Шопенгауэр, — ему снова сделался видим действительный мир и чертовщина мира, и он говорил об этом насколько грубо, настолько и воодушевленно, ибо эта чертовщина имеет свою красоту! Так что же в сущности так прельщало иностранцев? Тот слабый блеск, тот загадочный свет млечного пути, который виден был вокруг этого образования: при этом иностранец говорил: “Это от нас очень, очень далеко, туда едва достигает наше зрение и слух, мы мало знаем это, мало можем насладиться им, мало оценить, но, тем не менее, это — звезды! Не открыли ли немцы потихоньку уголок неба и не поселились ли там? Надобно постараться поближе подойти к немцам”. И подошли к ним поближе; между тем как те же самые немцы почти сейчас же начали стараться о том, чтобы стряхнуть с себя блеск млечного пути: они слишком хорошо знали, что они были не на небе, а в облаках!

Лучшие люди!

— Мне говорят: наше искусство обращается к жадным, ненасытным, необузданным, разбитым людям настоящего и показывает им благословенные возвышенные картины чистой жизни рядом с картиной их пустыни: они забываются и могут отдохнуть за этим созерцанием, и, может быть, из этого забвения они вынесут проклятие своей жизни и желание перемены. Бедные художники, если им приходится иметь дело с такой публикой! Иметь такие полужреческие, полу-докторские цели! Насколько счастлив был Корнель — “наш великий Корнель”, как восклицание *madame de-Sevigne* с обычным удивлением женщины пред великим человеком, — насколько выше была его аудитория, если он мог быть ей полезным, рисуя рыцарские доблести, строгость обязанностей, великодушные жертвы, геройское самообладание! Как иначе любили бытие и сам Корнель и его слушатели не из слепой разнузданной “воли”. Которую проклинают, потому что не могут убить ее, но как такое место, где совместимы величие и гуманность, и где даже самое строгое принуждение форм, подчинение правительственной или умственной власти, не может убить ни гордости, ни рыцарского благородства, ни красоты, ни духа индивидуума, и где, наоборот, развивается прирожденное самодержавие и величие, и наследственная всласть воли и страсти.

Значение хороших противников.

— Говорят, что французы были когда-то самым христианским народом на земле: не в том смысле, что народные массы были у них более верующими, чем где-либо, но в том, что у них были люди, которые осуществили в себе самые трудные христианские идеалы.

Вот Паскаль — соединение страсти, ума и честности. Вот Фенелоп, полное и чарующее выражение церковной культуры во всех ее силах: золотая середина, представляющая нечто несказанно трудное и невероятное. Вот *madame de Cuyon* среди подобных ей французских квиетистов: и все, что старалось разгадать горячее красноречие апостола Павла о состоянии самого возвышенного, самого любящего, самого смиренного и самого восторженного христианина, было там действительностью, имея при этом благородную женственную, изящную,

старофранцузскую наивность в словах и манерах. Вот основатель трапнистских монастырей, один из последних, серьезно относившихся к аскетическому идеалу, — он не был исключением среди французов; напротив, был настоящим французом, его суровое творение могло родиться и развиваться только среди французов и последовало за ним в Эльзас и в Алжир. Вспомнить и гугенотов: более красивого союза воинственного и трудового духа, утонченных нравов и христианской строгости до сих пор не было. И в порт-Рояле в последний раз расцветала христианская ученость, и этот цвет великие люди во Франции понимают лучше, чем где-либо в другом месте. Не желая быть поверхностным, великий француз, однако, всегда бывает поверхностным, — между тем как глубина великого немца держится замкнутой, как элексир, который старается защититься от света и легкомысленных рук своей жестокой чудесной оболочкой. — Теперь можно разгадать, почему этот период совершенных типов христианства должен был производить также и противоположные типы не христианского свободного духа! Французскому свободному духу приходилось бороться всегда с великими людьми, а не только с уродами, с которыми боролся свободный дух других народов.

Суетность учителей морали.

— Небольшой в общем успех учителей морали объясняется тем, что они слишком много хотели от одного раза, т. е., были очень ревностны: они хотели давать предписания всем. А это значит блуждать в пустыне, и держать речи пред зверями с целью сделать их людьми: что же удивительного, если люди находят это скучным! Следовало бы выбрать ограниченный кружок и для них искать и создавать мораль. Например, отыскать стаю волков и перед нею держать речи, чтобы сделать их собаками. Но наибольший успех все-таки достается тому, кто хочет воспитать не всех и не кружок, хотя бы и ограниченный, а только одного, и не будет тратить сил направо-налево. Предшествующее столетие выше нашего именно в том отношении, что в нем так много было отдельно воспитанных людей рядом со столькими же воспитателями, которые в этом воспитании видели задачу своей жизни, а с задачей — и достоинство жизни в своих глазах и в глазах всякого другого “хорошего общества”.

Так называемое классическое образование.

— Для того, чтобы показать, что наша жизнь посвящена познанию, и что мы могли бы забыть нет! Что мы забыли бы об этом, если бы это предназначение наше само не напоминало нам о себе. Часто произносят с чувством эти стихи: “Судьба, я следую за тобой! И если бы я не хотел, я должен бы сделать это, хотя бы со вздохами и жалобами”!

А теперь, оглянувшись на дорогу жизни, мы точно так же замечаем, что что-то забыто нами, что наша юность истрачена даром, потому что наши воспитатели употребили наши молодые годы, горячие и жаждущие познаний, не на то, чтобы дать нам познание вещей, а на то, чтобы дать нам “классическое образование!” Наша юность истрачена даром, потому что нам сообщали неумело и мучительно для нас тощие сведения о греках, и римлянах и об их языке, вопреки основному положению всякого воспитания, что надобно давать каждому такую пищу, какую кто может есть! Наша юность истрачена даром, потому что нас силой заставляли изучать математику и физику, вместо того, чтобы заинтересовать нас и указать на тысячу проблем, возникающих в нашей маленькой ежедневной жизни, в наших ежедневных занятиях, во всем том, что совершается каждый день в доме, в мастерской, на небе, на земле, — указать на тысячу проблем, возбудить в нас желание разгадать их и потом сказать, что для этого мы прежде всего должны учить математику и механику, и затем уже сообщить нам научное увлечение абсолютной последовательностью этой науки! О, если бы научили нас только уважать эти науки! О, если бы хоть один раз заставили дрогнуть наши души, сообщив нам борьбу, падение и новую борьбу их светил, и те мученичества, которые знает история точных наук! Наоборот, на нас дохнули дыханием пренебрежения к другим наукам в пользу истории, “формального образования” и “классицизма!” И мы так легко позволили обмануть себя! Формальное образование! Не можем ли мы, указав на лучших учителей наших гимназий, спросить с улыбкой: “Где здесь формальное образование? И если его нет у них самих, как же могут они давать его другим?! А классицизм! Учимся ли мы чему-нибудь такому, чему учили древние свою молодежь? Учимся ли мы говорить как они, писать как они? Упражняемся ли мы непрестанно, как они, в спорах, в диалектике? Учимся ли мы красивым и гордым движениям, борьбе, метанию диска, кулачному бою? Заимствуем ли мы хоть что-нибудь из практической аскетики всех греческих философов? Проводим ли мы в жизнь хоть одну античную добродетель, именно так, как проводили ее в жизнь древние? Не отсутствует ли в нашем воспитании вообще всякая мысль о морали, те мужественные, серьезные попытки жить в той или другой морали? Возбуждают ли в нас какое-нибудь чувство, которое ценили древние? Не отсутствует ли в нашем воспитании вообще всякая мысль о морали, те мужественные, серьезные попытки жить в той или другой морали? Возбуждают ли в нас какое-нибудь чувство, которое ценили древние, а не новые народы? Указывают ли нам деление дня и жизни и цели жизни в античном духе? Изучаем ли мы древние языки так, как изучаем языки живых народов, именно с тем, чтобы говорить — и говорить удобно и хорошо? Никто не может, никто не в состоянии сделать это — и вот результат трудных годов! Мы учимся для того, чтобы знать, что могли и были в состоянии делать прежние люди! А что это за знание! С каждым годом мне становится яснее, что весь греческий и античный мир трудно понимаем для нас, даже более — едва доступен; а если иногда говорят о древних с легкостью, то это свидетельствует или о легкомыслии говорящего, или о наследственном самомнении



бессмыслицы.

Таковы области, на которых подвизались мы в нашем действе, и мы вынесли из него отвращение ко всей древности, отвращение, по-видимому, слишком искреннее! Гордое воображение наших классиков-воспитателей, будто они вполне овладели древностью, заходит так далеко, что они стараются внушить это самомнение и своим воспитанникам, — но с задней мыслью, что оно, правда, не может сделать человека счастливым, но достаточно хорошо для честных бедных буквоедов, которые как драконы сидят на своих кладах, вполне достойных их, и чувствуют себя хорошо. Такое классическое образование получили мы. Поправить дело нельзя — для нас! Но надобно думать не только о себе!

Слишком личные вопросы правды.

— Что такое, собственно, делаю я? И чего хочу добиться? — Вот вопрос правды, которым не задается наша современная система образования, и на который, следовательно, не дается ответа; заниматься этим некогда. Напротив, говорить с детьми о всяких пустяках, а не о правде; говорить женщинам, которым предстоит быть матерями, разные комплименты, а не поднимать вопрос о правде; говорить с юношами о их будущем, а не о правде — для этого всегда есть время и охота! — А что такое семьдесят лет! Они быстро пройдут и быстро подойдет конец; так не важно, чтобы волна знала, куда и как она бежит! Даже, пожалуй, лучше не знать этого. — “Согласен, но не много гордости в том, что даже никто не подымет такого вопроса; наше образование делает людей негордыми” — “Тем лучше!” — “Правда?”

Враждебное отношение немцев к просвещению.

— Можно подвести итоги тому, много ли содействовали немцы первой половины нашего столетия развитию общей культуры. Во-первых, философы: они вернулись на первую и древнейшую ступень умозрения, находя удовлетворение в понятиях вместо объяснений, подобно мыслителям мечтательных веков: донаучная философия снова была воскрешена ими. Во-вторых, немецкие историки и романтики: их общие старания направлялись на то, чтобы снова дать уважаемое место всякого рода примитивным чувствам — народному духу, народной мудрости, народному языку, всему средневековью, восточной аскетике и индийству. В-третьих, естествоиспытатели: они боролись против духа Ньютона и Вольтера и пытались, подобно Гете и Шопенгауэру, воскресить идею природы, полной сверхъестественных сил, и ее всепроникающего этического и символического значения. Все направление немцев шло против просвещения и против реформы общества: уважение к существующему старались превратить в уважение к прошедшему только для того, чтобы сердце и дух были полны, и чтобы в них нашлось место для будущих, обновляющих целей. На месте культа разума воздвигли и культ чувства, и немецкие музыканты, как художники невидимого, воображаемого, строили в этом новом храме еще успешнее, чем все художники слова и мысли. Если пример в расчет, что, в частности, было произнесено и исследовано много хорошего, и что потом об этом судили хуже, чем тогда: то все-таки остается в целом, что была немалая общая опасность, под видом полного и окончательного познания прошедшего, подчинить познание вообще чувству. Кант так определял свою задачу — “проложить вере путь, указав знанию его границы”. Вдохнем же свободно: эта опасность миновала! И странно, именно те самые духи, которых так красноречиво заклинали немцы, оказались самыми вредными целям своих заклинателей: история, понимание возникновения и развития, любовь к прошлому, вновь возбужденная страстность чувства и познания, — все эти духи, казавшиеся некоторое время сподвижниками омрачающего, сумасбродствующего, задерживающего духа, приняли, в один прекрасный день, новую природу и летают теперь, распростирая крылья, взад и вперед, над своими старыми заклинателями, в виде новых, более сильных гениев, именно того просвещения, против которого их когда-то заклинали. Это просвещение мы должны развивать теперь дальше, не заботясь о том, что принесет оно с собой!

Дать ранг своему народу.

— Многие имеют большие внутренние опыты и смотрят на них и выше них спокойным духовным оком — это делает людей культуры, которые дают ранг своему народу. Во Франции и Италии эту роль играет знать: у немцев, у которых знать вообще принадлежит к числу бедных духом (может быть, уже не надолго), эта роль принадлежит духовенству, учителям и их потомству.

Мы благороднее.

— Верность, великодушие, стыдливость перед похвалой — соединение этих трех качеств мы называем благородством, и в этом отношении мы стоим выше греков. — Для того, чтобы понять, что образ мыслей самого благородного грека должен чувствоваться ничтожным и едва пристойным в среде нашей все еще рыцарской и феодальной знати, можно вспомнить о том утешении, какое внушал себе Одиссей при трудном положении дел: “Перенеси это, мое милое сердце! Ты переносило уже несравненно худшее!” Возьмите историю того афинского офицера, которые в присутствии всего генерального штаба на угрозы, делаемые ему палкой другим офицером, отклонял от себя этот позор такими словами: “Бей, но выслушай!” Грекам было непонятно бросить жизнь во избежание позора, как это делаем мы, под впечатлением унаследованной нами рыцарской готовности жертвовать и благородно рисковать всем, как это делаем мы на дуэлях; им было непонятно считать удержание доброго

имени (честь) выше приобретения дурного имени, когда это последнее связано со славой и чувством власти; им было непонятно оставаться верным сословным предрассудкам, когда эти последние могли помешать сделаться тираном. Это — неблагородная тайна каждого хорошего греческого аристократа: из глубочайшей ревности она считает каждого члена своего сословия на равной ноге с собой, и каждую минуту готов броситься на власть, как тигр на добычу. Что ему ложь, убийство, заговор, продажа отечества, если дело идет о власти! Справедливость для людей такого рода была необыкновенно труда, она считалась почти чем-то невероятным; “справедливый” для грека звучало так же, как “святой” для христианина. Даже когда Сократ говорил: “Добродетельный человек — самый счастливый”, то не верили своим ушам, думали, что слышат что-нибудь неверно. При преставлении счастья каждый человек благородного происхождения представлял себе необузданного тирана, все и всех приносящего в жертву своему высокомерию и страсти. В людях, которые втайне так дико фантазировали о счастье, не могло, конечно, глубоко укорениться уважение к государству, — но я думаю: люди, у которых страсть к власти не неистовствует так слепо, как у греков, не нуждаются более в идолопоклонстве понятию государства, чем сдерживалась прежде в границах та страсть.

Переносить бедность.

— Великое преимущество знатного происхождения состоит в том, что оно позволяет лучше переносить бедность.

Будущее знать.

— Наружность “знатного человека” выражает, что в его членах сознание власти постоянно играет свою исполненную прелесть игру. Благородный человек, мужчина или женщина, не позволяет себе упасть на стул как бы в полном изнеможении; он избегает некрасивых движений и тогда, когда все стараются обставить себя поудобнее — например, облокачиваться на спинку кресла во время езды по железной дороге; он показывает себя переутомленным, даже если он в течение нескольких часов простоит на ногах при дворе; он строит свой дом не по плану уюта, а большой, солидный, как будто там будут жить существа высшие (даже имеющий больший рост); на вызывающую речь он отвечает сдержанно и ясно, а не с гневом, краснея и задыхаясь, как плебей. Он умеет сохранять вид постоянно присутствующей, высокой физической силы и желает постоянной ясностью, связанностью и обязательностью, даже в трудных положениях, поддержать во всех окружающих впечатление, что его душа и ум стоят выше опасностей и смущения. Что касается страстей, то благородную культуру можно сравнить с всадником, чувствующим удовольствие пустить страстное гордое животное важной поступью — представьте себе век Людовика XIV, — или с всадником, который чувствует, что его конь, как стихийная сила, несется под ним, уже близок к тому пункту, где конь и всадник сломают себе шею, — но именно теперь он с удовольствием держит голову прямо. В обоих случаях благородная культура дышит властью, и если она очень часто требует только наружности чувства власти, то однако впечатление, которое производит эта игра на незнатных, и сама игра это впечатление постоянно увеличивают действительное чувство превосходства. Это бесспорное счастье благородной культуры, которое основывается на чувстве превосходства, начинает подниматься теперь на еще более высокую ступень, так как теперь человеку с благородным происхождением и воспитанием дозволяется и не считается позорным отдаваться познанию и почерпать там более духовное посвящение, научиться более высокой рыцарской службе, чем прежде, и стремиться к идеалу победоносной мудрости, который еще никогда не ставился так высоко, как теперь. В конце концов: чем же должна в будущем заниматься знать, если со дня на день разрастается убеждение, что ей неприлично заниматься политикой!..

Забота о здоровье.

— Едва начали заниматься физиологией преступников. — и уже стоят пред неопровержимым фактом, что между преступником и умственно больным нет существенной разницы: конечно, если думать, что обыкновенный моральный образ мыслей есть образ мыслей умственно здорового. Но ни одна вера так не крепка сейчас, как эта, и смело делают отсюда вывод, что с преступником надобно поступать, как с умственно больным человеком, — не то чтобы относиться к нему с высокомерным состраданием, но с врачебными средствами и целями. Ему надобно дать перемену воздуха, другое общество, новое занятие, может быть, уединение! Может быть, он сам найдет более удобным для себя прожить некоторое время под надзором, чтобы найти защиту от самого себя и от своей тиранической страсти. Можно ему ясно предложить возможность и средство исцеления (уничтожения, преобразования, смягчения страсти), и, в худшем случае, указать ему на ее невероятность. Не надобно ничего упускать, чтобы дать преступнику энергию и свободу духа; надобно стереть из его души все угрызения совести, как какую-нибудь нечистоту, и дать ему указание, каким образом он мог бы загладить вред, причиненный одному, благодеянием, оказанным другому или, может быть, даже целому обществу. И все это надобно сделать с большой деликатностью! Скрыть его имя, или дать ему другое имя, дать ему возможность чаще менять место, чтобы спасти его доброе имя, и насколько возможно избавить от опасности его будущую жизнь! А теперь тот, кому причинен какой-нибудь вред, не обращает внимания на то, что причинивший вред может загладить его, требует мести и обращается за ней к суду, — разве не можем мы выйти из такого порядка вещей? Насколько легче сделалось бы общее чувство жизни, если бы вместе с верой в вину отделились от старого инстинкта мести,

и стали бы считать тонкой предусмотрительностью счастливых — благословлять своих врагов и делать добро тем, кто оскорбляет нас! Удалим из мира понятие вины, а вслед за ним пошлем и понятие наказания! Пусть эти проклятые чудовища живут в почете где-нибудь в другом месте, а не среди людей, если уже так им надобно жить, а не погибнуть от отвращения к самим себе! Между тем вспомните, что вред, который терпит общество и отдельные лица от преступников, совершенно однороден вреду, который терпят от больных: больные вызывают заботу, причиняют неудобства, не производят и потребляют производство других, им нужны надсмотрщики, врачи, они живут, отнимая время и силы у здоровых. И не смотря на все это, разве не назовем мы бесчеловечным того, кто вздумал бы мстить больному за это. Прежде и поступали так: в первобытные эпохи культуры; и теперь еще у многих диких народов на больного смотрят как на преступника, как на опасного для общества, как на жилище какого-то демонического существа, который вселился туда за какую-то вину: следовательно, каждый больной — преступник! А мы — неужели еще не созрели для усвоения противоположного взгляда и не можем сказать: каждый “виновный” — больной. Нет! Не пришел еще для этого час. Прежде всего, еще нет врачей, которые могли бы сделать предметом своей науки и искусства то, что называли до сих пор практической моралью.

Вообще, нет еще того жадного интереса к этим вещам, который, может быть, окажется очень сходным с Sturm und Drang’ом тех старых религиозных движений; церковь не вмешивается еще в сферы заботы о здоровье; учение о теле и о диете не входит еще в обязательный круг преподавания высших и низших школ; нет еще таких обществ, члены которых ставили бы своей программой не прибегать к помощи судов, к наказаниям и мести тем, кто причинил им зло.

Против плохой диеты.

— О! Что за обеды едят теперь люди в гостиницах и всюду в других местах, где живут состоятельные классы общества! Даже когда сходятся высокоуважаемые ученые люди, соблюдается тот же самый принцип, как и за их собственным столом, как и за столом любого банкира, — т. е. “больше, возможно больше” и “разнообразнее”. Из этого следует, что при приготовлении себе пищи бьют на эффект, а не обращают внимание на пользу; тут возбуждающие напитки должны помогать — облегчать тяжесть желудка и мозга. О! Какая пустота и тяжесть должна быть общим следствием! Какими искусствами и книгами можно будет заниматься после такого стола! И наконец, — чтобы сказать что-нибудь приятное, а не только одно отвратительное — такие люди вовсе не кутилы. Что же такое эти обеды? — Они играют роль представительства. — Чего? Сословия? — Нет, Денег! Сословий больше нет! Есть только “индивидуум”! Но деньги — власть, слава, честь, ранг, влияние, они создают теперь моральные предрассудки для человека. Никто не захочет положить деньги под тарелку или положить их прямо на стол; следовательно, деньги должны иметь представителя, которого можно было бы поставить на стол: смотри — вот наш обед!

Золото.

— Чем можно объяснить это страшное нетерпение, которое делает теперь человека преступником? Один употребляет ложный вес; другой поджигает дом, потому что он застраховал его хорошо; третий делает фальшивые деньги; три четверти общества преданы обману и жертвуют своею совестью в пользу кошелька и спекуляции! Что заставляет их всех делать это? Не необходимость же! Многим живется вовсе недурно; может быть, они едят и пьют без забот! — Страшное нетерпение, что медленно накаплиются деньги и такая же страшная страсть и любовь к накоплению денег терзают их день и ночь и гонят их все вперед и вперед. В этом нетерпении и в этой страсти снова проявляется тот фанатизм желания власти, который прежде проявлялся в вере, в желании обладать правдой, и который носил такое красивое имя, что могли отважиться быть бесчеловечными и обладать, в то же время, чистой совестью (жечь евреев, идолопоклонников, хорошие книги, с корнем уничтожать высокую культуру, как, например, поступили с перуанской и мексиканской культурами). Средства изменились, но вулкан продолжает клочкотать: нетерпение и страстная любовь требуют себе жертв, и то, что прежде делалось “ради Бога”, теперь делают “ради денег”, т. е. ради того, что делает теперь чувство власти и чистую совесть.

Об Израиле.

— К сценам, к которым готовит нас грядущее столетие, принадлежит также и решение судьбы европейских иудеев. Что они бросили свой жребий, перешли свой Рубикон, теперь всем понятно. Им остается только одно — или стать господами Европы, или потерять Европу, как некогда они потеряли Египет, где они поставили себя перед такими же “или-или”. Но в Европе они прошли школу 18 столетий, и притом так, что опыты этой страшной практики приносили пользу не всему обществу, а главным образом, отдельным лицам. Вследствие этого душевные и духовные силы у теперешних евреев развиты чрезвычайно. Из всех европейцев они реже всего хватаются в нужде за водку или за самоубийство, ища в них выхода из затруднительного положения, что часто делают менее одаренные натуры. Каждый еврей имеет в истории своих отцов и дедов громадный запас примеров самой холодной рассудительности в опасном положении дела; примеров самого искусного использования несчастного случая; примеров мужества под покровом подчиненности; еврейский героизм в *spernere se sperni*

(пренебрегать тем, что тобой пренебрегают) превосходит всякие добродетели незлобия и любви. Хотели наложить на них клеймо презрения, — и в течение двух столетий не допускали их ни до каких почестей, отказывали им во всем почетном, рассчитывая этим глубже задавить их в грязных ремеслах, — правда, от этого они не сделались чище, но сделались ли презреннее? Они сами не переставали верить в то, что они призваны к чему-то высшему, и добродетели страждущих никогда не переставали украшать их. Их уважение к родителям, их любовь к детям, их разумные, нравственные браки ставят их особняком среди всех европейцев. Ко всему этому они умели удалить чувство власти и вечной мести из того дела, которое оставили им, или, вернее, которому оставили их. В оправдание их ростовщичества должно сказать, что без этой временной, приятной и полезной пытки своих презрителей едва ли могли бы они так долго уважать самих себя, так как мы тогда только уважаем себя, когда можем отплатить за себя добром и злом. Месть, однако, недалеко увлекает их, так как все они либеральны и гуманны благодаря частым переменам места, климата, среды; они обладают громадной опытностью во всех человеческих отношениях, которая и мешает им увлекаться страстью. Гибкость и изворотливость их духа так верно служит им, что никогда, даже в самых трудных положениях, они не бывают вынужденными зарабатывать себе хлеб физической силой, в качестве носильщиков, полевых рабочих и т. п. На их манерах отразилось и то, что их душе старались не давать рыцарски благородных чувств, и оружия — телу. А теперь, когда они в силу необходимости с каждым годом все более и более роднятся с лучшей знатью Европы, они скоро получат хорошее наследие духовной и физической красоты, так что через сто лет они будут выглядеть такими благородными, что им можно будет стать господами, и подчиненным не стыдно будет этого! Теперь такая власть еще несвоевременна! Они сами понимают это лучше, чем кто-либо другой; о захвате такой власти силой не может быть и речи; но придет некогда время, — и Европа, как вполне созревший фрукт, упадет им в руки, и они станут указателями путей европейцам. Куда же иначе денется тот обильный запас великих впечатлений, который накопила иудейская история для каждой иудейской семьи, — этот запас страстей, добродетелей, энергии, самоотречения, борьбы, побед всякого рода, — куда же иначе направится этот могучий поток, как не на создание великих людей и дел? Если иудеи указывают на такие драгоценные камни и на такие золотые сосуды, как на произведение рук своих, каких не могут указать другие европейские народы, обладающие меньшим и менее глубоким опытом, если Израиль обратит свою вечную месть в вечное благословение Европы, то некогда снова настанет тот седьмой день, когда иудейский Бог радовался своему творению и своему избранному народу, — и мы все будем радоваться вместе с Ним!

Невозможное состояние.

— Беден, весел и независим! — Соединение этих трех состояний возможно. Беден, весел и раб — это тоже возможно; и я не мог бы сказать ничего лучшего фабричным рабочим, хотя они вообще не чувствуют как бесчестие быть употребляемому в качестве винта машины и заполнять собою пробелы в искусстве человеческого изобретения! Фу! Думать, что главная суть их несчастья — я разумею их безличное рабство, — может получить высшую цену в общем итоге! Фу! Позволить уговорить себя, что увеличение безличности внутри этого машинного влечения нового общества может превратить позор рабства в добродетель! Фу! Потерять личность и сделаться винтом! Будете ли вы соучастниками теперешней глупости наций, которые хотят, прежде всего, производить как можно больше, и сделаться как можно богаче? Вы должны были бы оказать им противовес: какие суммы внутренней ценности пришлось бы потратить на эту внешнюю цель! Но где у вас внутренняя ценность, если вы не знаете, что значит свободно двигаться? Владеете ли вы силой хоть сколько-нибудь? Прислушиваетесь ли вы к тому, что делается вокруг вас? Доставляет ли вам удовольствие в быстром возвышении и падении власти, денег, мнений? Вы не верите больше в философию, в прямоту человека, свободного от нужды! Напротив, волянка социалистических крысоловок не переставая звучит вам в уши, стараясь внушить вам глупые надежды! Она призывает вас быть готовыми и больше ничего, — быть готовыми не сегодня-завтра, так что вы ждете, что должно что-то случиться, и живете все также, все в той обстановке, как жили и до сих пор, пока это ожидание не сделается голодом, жаждой, лихорадкой, сумасшествием! Должен же каждый наконец, подумать про себя: лучше в диких странах мира быть господином и прежде всего господином себе самому; менять место до тех пор, пока мне будет грозить хоть малейший признак рабства; испытать всяческие приключения, идти навстречу войне, в худшем случае — умереть, но только дальше — дальше от этого позорного рабства, отравляющего жизнь, делающего человека недовольным, злобным, заговорщиком! Это был бы правильный образ мысли! Рабочие в Европе должны бы были выяснить себе это; положение их как рабочего сословия есть нечто человечески невозможное, а не то что целесообразно; они должны были бы оторваться из европейского улья, чего еще никогда не было до сих пор, и этим переселением, предпринятым в широких размерах, протестовать против машин, капитала... Пусть Европа отпустит от себя четверть населения! И ей и ему на сердце будет легче! Вдали, среди колонизаторских исканий, обнаружится, сколько здравого смысла и ловкости и сколько здорового недоверия вселила масть Европа в своих сыновей, — тех сыновей, которые не могли ужиться с ней, с оглупевшей женщиной, и бежали от опасности сделаться брюзгливыми, раздражительными и сладострастными, как она сама. Добродетели Европы останутся при этих странниках, и то, что на родине стало вырождаться в недовольство, в преступные склонности, там будет приобретать дикую красивую естественность и будет называться героизмом. — Так водворится снова чистый воздух в старую

переполнившуюся Европу! Пусть недостает нескольких “рабочих сил”! Тогда узнают, что многие потребности являются только тогда, когда их легко удовлетворить, — и снова отвыкнут от многих потребностей! Может быть, перевезут тогда в Европу китайцев: а они принесут с собой образ мысли и образ жизни, подходящий для трудолюбивых муравьев. Да, они могут помочь беспокойной, истощающей себя Европе, дав ей азиатский покой и азиатскую созерцательность, а главное — в чем Европа больше всего нуждается — азиатскую устойчивость в чистоте крови.

Отношение немцев к морали.

— Немец способен к великому; но невероятно, чтобы он совершил великое, так как он покоряется всюду, где он может, — что полезно ленивому духу. Если он поставлен в необходимость стоять одинаково и покинуть свою неповоротливость, если ему невозможно исчезнуть как цифре в сумме, — тогда он обнаруживает свои силы, тогда он становится опасным, злым, отважным, приводит в действие запас спящей энергии, которую он носит в себе, и в которую никто не верит, а в том числе и он сам. Если немец в таком случае повинуетса самому себе (это большое исключение), то происходит это с такой же неповоротливостью, неумолимостью, постоянством, с какими он повинуетса своему королю и чиновникам: тогда он способен на великий шаг, непохожий на тот “слабый характер”, какой он предполагает у себя. Но обыкновенно он боится зависеть только от самого себя, импровизировать: поэтому-то Германия имеет столько чиновников и употребляет столько чернил. — Легкомыслие ему чуждо, оно тяготит его; он в совершенно новых положениях, которые пробуждают его от сонливости, он почти легкомыслен: странность нового положения действует на него как хмель, и он чувствует себя как бы в опьянении! Так, немец в политике почти легкомыслен; если он и пользуется славой основательности и серьезности, и так ведет себя в отношениях с другими политическими силами, то во внутренней политике он заносчив и кичлив, он может быть одновременно и веселым, и прихотливым, и непостоянным, и менять лица, партии и надежды точно маски.

Преимуществом и недостатком немцев, в том числе и их ученых, было до сих пор то, что они ближе других народов стояли к суеверию и к с расти верить; их пороками было, как прежде, так и теперь, пьянство и склонность к самоубийству; их опасность лежит во всем, что связывает силы ума и дает волю аффектам (как например, музыка и крепкие напитки): ибо немецкий аффект направлен против собственной пользы и саморазрушителен, как аффект пьяницы. Само воодушевление менее ценится в Германии, чем где-либо в другом месте, так как оно неплодотворно. Если немец делает что-нибудь великое, он делает это по нужде, в состоянии мужества, со стиснутыми зубами, трезво и часто великодушно.

Какова же может быть мораль у такого народа? Конечно, в ней должно идеализироваться сердечное влечение народа к повиновению. “Человек должен иметь нечто такое, чему он может безусловно повиноваться”, — вот немецкое чувство, немецкая логика: такое положение лежит в основе всех немецких моральных систем. Как различна такая мораль от морали античной! Все греческие мыслители, как бы ни разнились они друг от друга, напоминают собой учителя гимнастики, обращающегося к молодежи с предложением: “Ну! За мной! Иди ко мне в учение! И ты как отличишься перед всеми, что получишь награду!” Личное отличие — вот античная добродетель. Подчиняться, идти за кем-либо явно или тайно, — вот немецкая добродетель. Еще задолго до Канта и его категорического императива Лютер, под влиянием того же чувства, говорил: “Должно же быть Существо, которому человек мог бы довериться безусловно”. Он хотел быть проще, популярнее Канта, потому и говорил о повиновении личности, а не понятию; да и сам Кант имел в виду разными обходами дойти до повинения личности. Греки и римляне чувствовали иначе и смеялись над этим; их южная свобода чувства заставляла их бороться против “безусловного доверия”, и в последнем итоге их мыслей и чувств у них оставалась доля сомнения во всем — будь то боги, человек или идея. Вот каков греческий философ! Nil admirari (ничему не удивляться) — в этом положении он видит философию. А немец, например Шопенгауэр, идет в противную сторону и заходит так далеко, что говорит — admirari id est philosophari (удивление создает философа). — А что, если немец попадает в такое состояние, когда он бывает способен к великому? Если настанет момент исключения, момент неповиновения? — я не думаю, чтобы Шопенгауэр был прав, говоря, что единственное преимущество немцев перед другими народами состоит в том, что между ними больше атеистов, чем где-либо, — но я знаю то, что если немец попадает в состояние, когда он бывает способен к великому, он становится тогда выше морали! Да и как может быть иначе? Теперь он должен делать нечто новое, именно приказывать себе или другим! Но приказывать его не научила немецкая мораль! О приказывании в ней забыто!